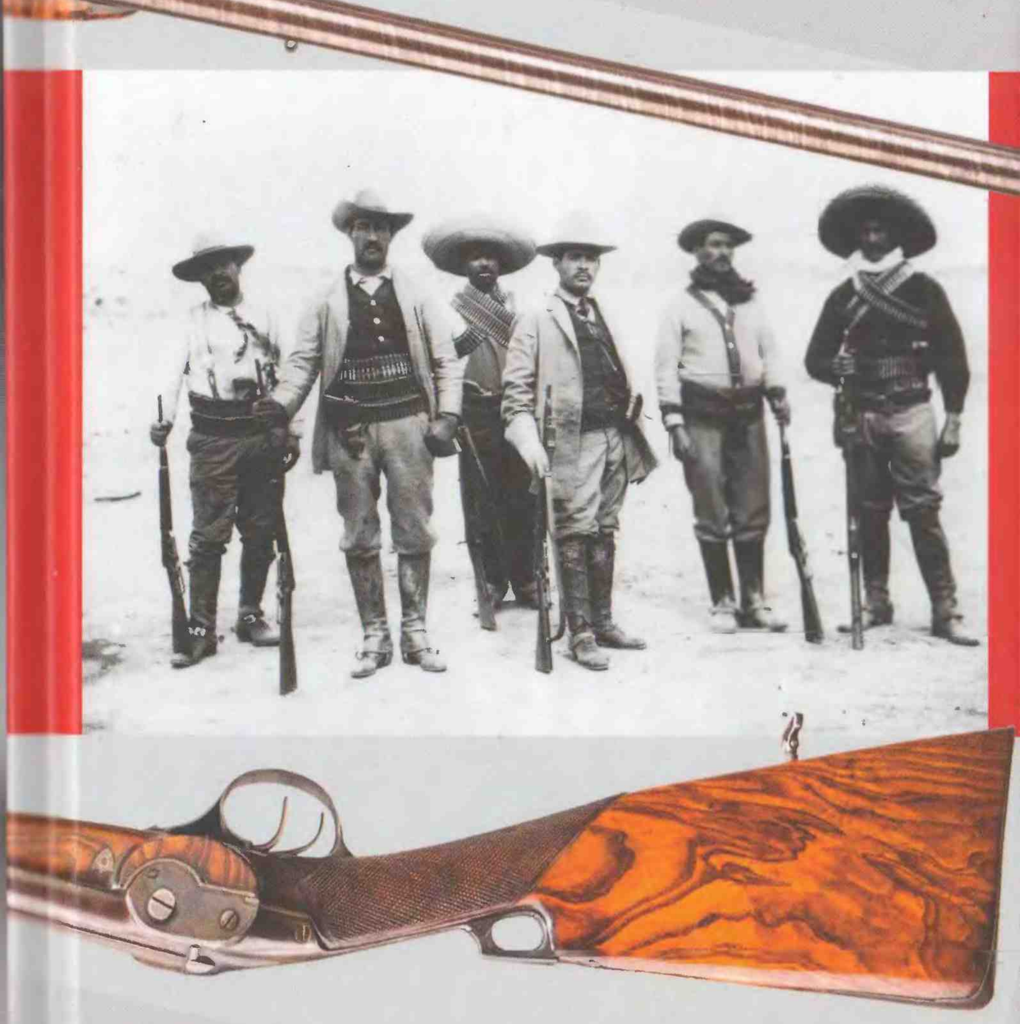
Эрик Хобсбаум



БАНДИТЫ

Университет Дмитрия Пожарского

Эрик Хобсбаум

БАНДИТЫ

Москва
Университет Дмитрия Пожарского
2020

УДК 316.35
ББК 66.3(2)6-28
Х 68

Eric *Hobsbawn*
Bandits

First published by Weidenfeld & Nicolson, London

Перевод с английского *Николая Охотина*
Научный редактор *Константин Харитонов*

Хобсбаум Э.

Х 68 Бандиты / пер. Н. Охотина. — М.: Университет Дмитрия Пожарского. Русский фонд содействия образованию и науке, 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-91244-268-1

Книга одного из ключевых историков XX в. Эрика Хобсбаума (1917–2012) посвящена феномену социального бандитизма, в классическом виде представленного легендами о Робин Гуде. Но не только в Шервудском лесу появлялись «бандиты», бросавшие вызов иерархической властной системе, защитники бедняков и народные мстители, неуловимые благодаря поддержке сообществ и стремительно обрастающие мифами и легендами. Практически с фатальной неизбежностью такие герои обнаруживаются на всех континентах и во всех уголках мира, в определенных исторических условиях. О том, как и почему это происходит, и как отделить реальность от народной легенды, и рассказано в этой книге.

УДК 316.35
ББК 66.3(2)6-28

ISBN 978-5-91244-268-1

Copyright © 2000 by Eric Hobsbawn
© Н. Охотин, перевод, 2020
© А. А. Васильева, переплет, 2020
© Оформление, Русский фонд содействия образованию и науке, 2020

От научного редактора

Эрик Хобсбаум (1917–2012), один из виднейших британских и мировых историков, хорошо известен российским читателям. Многолетний член Коммунистической партии Великобритании (КПВ) и один из лидеров Исторической группы КПВ, к сожалению, не издавался в СССР, так как был слишком неортодоксален для советского официоза, хотя его книги выходили, например, в Венгрии и Югославии. Только в 1991 году увидела свет на русском языке его работа «Эхо Марсельезы» (М.: Интер-Версо), представляющая масштабную картину трансформации прочтений Французской революции на протяжении последовавших за ней двух веков. В 1998 году на русском языке была издана книга «Нации и национализм после 1780 года» (СПб.: Алетейа), давно ставшая, наравне с книгой Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества», классической для конструктивистского направления исследований национализма, отрицающего мифическую «древность» наций и национальных традиций и сосредоточенного на вскрытии механизмов их формирования в Новое время. В 2017 году на русском языке была опубликована уже посмертная книга (английское издание вышло в 2013 году) «Разломанное время» (М.: Corpus), посвященная вопросам культуры XX века, смерти культуры века девятнадцатого и прогнозам в этой области на XXI век. Главный труд Эрика Хобсбаума, принесший ему действительно мировую известность, совмещающий кропотливый анализ и художественное мастерство, увидел свет на русском языке в 1999 году (перевод, к сожалению, крайне низкого качества). Это фундаментальный трехтомник, посвященный долгому XIX веку: «Век революции (1789–1848)», «Век капитала (1848–1875)» и «Век Империи (1875–1914)» (Ростов-на-Дону: Феникс). А уже в 2004 году вышел примыкающий к ним том «Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)» (М.: Независимая газета).

В работе о XX веке, по всеобщему признанию обязательной для чтения любому, кто начинает изучение этого периода и хочет понимать проходившие в это время масштабные процессы, Хобсбаум выступает не только как исследователь, но и как свидетель, коим он конечно же и был не только хронологически, но и благодаря глубокой вовлеченности в политическую жизнь

этого непростого и трагичного периода тотальных войн, всплесков и трансформаций демократий, установления диктатур, крушения империй, массовых движений, народных фронтов, надежд и поражений.

Родившийся в Александрии в еврейской семье, безуспешно пытавшейся заниматься там бизнесом (отец — мелкий лондонский торговец из польской диаспоры, мать из австрийской семьи среднего класса; семья была крайне небогатой), Хобсбаум учился в школе в Вене, этом некогда блестящем центре европейской культуры, ставшем на тот момент осколком Австро-Венгерской империи, а после скоропостижной смерти родителей его взяла на воспитание родная тетя, и юноша продолжил обучение в берлинской гимназии, проучившись там с 1931 по 1933 год, — время, трагичное для Германии и во многом определившее развитие страны, да и мира, на десятилетия вперед. Именно там он присоединился к студенческому коммунистическому движению — в расколотой стране молодому интересующемуся жизнью человеку необходимо было сделать выбор, и для него это однозначно был марксизм и коммунизм. 25 января 1933 года Хобсбаум принял участие в массовой, стотридцатитысячной (но последней) коммунистической демонстрации в Берлине, когда красные знамена уже были не в состоянии ни разогнать серость нависших облаков, ни оживить серость бетонных зданий, ни затмить тяжелое ожидание нависшей катастрофы. Через 5 дней, 30 января, Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером.

После прихода к власти в Германии нацистов Хобсбаум, еврей и коммунист, эмигрировал в Великобританию, где вскоре поступил в Кембриджский университет и официально вступил в Коммунистическую партию. Левые идеи были популярны в этой среде, он даже получил намек на возможность присоединиться к тем, кто впоследствии стал знаменитой «Кембриджской пятеркой», осуществлявшей разведывательную деятельность в интересах СССР, но отказался от этого предложения. Колоссальное впечатление оказало на него посещение Парижа и участие в воодушевляющих демонстрациях Народного фронта, на всю жизнь он сохранил приверженность этой стратегии единства всех прогрессивных сил в противовес узкопролетарскому изоляционизму коммунистического движения. В годы Второй мировой войны Хобсбаум был зачислен в инженерные войска, где занимался общеобразовательной подготовкой солдат и, как настоящий марксист, приступил к ведению коммунистической пропаганды среди «саперов-пролетариев». В 2014 году, через два года после смерти историка, британская спецслужба МИ5 рассекретила досье на Хобсбаума, которое он и сам давно хотел увидеть, справедливо предполагая, что ему, как марксисту и коммунисту, ставят-

ся внешние препятствия в академической (впрочем, блестяще сложившейся) карьере и общественной деятельности. В этом деле, рассекреченном не полностью, только до 1963 года и с изъятием целого ряда страниц и документов, Хобсбаум фигурирует как «закоренелый» марксист «категории А». Именно в военные годы МИ5 и заинтересовалась сержантом-инструктором Хобсбаумом.

Эрик Хобсбаум оставался членом Коммунистической партии Великобритании вплоть до ее самороспуска в 1991 году, не занимая в ней никаких постов, но работая как историк, теоретик и интеллектуал. Пламенный партиец, прошедший первичную политизацию в яростной и опасной обстановке Германии начала тридцатых годов, некоторое время он безусловно одобрял и поддерживал все зигзаги сталинского руководства, включая, например, пакт Молотова — Риббентропа. Важным и трагичным событием для Хобсбаума, как и для многих его товарищей, стало подавление советскими танками Венгерского восстания 1956 года, что обрушило надежды на возможность практической реализации демократического социализма — он подписал письмо протеста, но партию не покинул, как и после подавления Пражской весны 1968 года. Эрик Хобсбаум оставался верен не руководству КПВ и не СССР (и даже не рекомендовал одному из своих студентов вступать в партию, ведь там ему пришлось бы вести непрерывную борьбу со сталинизмом), но самой возможности другого, некапиталистического мира, мира свободы и реализации творческого потенциала, не видя при этом действенной альтернативы массовому коммунистическому движению. Еще одной причиной, по собственному признанию, было нежелание предать память тех, с кем он начинал политическую борьбу, немецких коммунистов, многие из которых погибли в нацистских тюрьмах и лагерях.

Будучи крайне далеким от советского догматического марксизма, Эрик Хобсбаум поддерживал еврокоммунистическое течение внутри КПВ, группировавшееся вокруг партийного интеллектуального журнала Marxism Today, взаимодействуя с левым (но не радикально-левым) крылом Лейбористской партии и особенно с Коммунистической партией Италии. Связь эта осуществлялась не только через личные связи и конференции, не только через глубокое уважение и пристальное внимание к идеям Антонио Грамши, но в первую очередь через действенную поддержку «итальянского пути к социализму» как возможности и необходимости для рабочего движения быть представителем и объединить в общей борьбе самые широкие слои населения. Даже после коллапса Советского Союза, самороспуска КПВ и «исторического самоубийства» Коммунистической партии Италии,

некогда крупнейшей компартии Западной Европы, пришедшей к краху в момент, когда, казалось бы, у нее появился исторический шанс прийти к власти (ведь такой же крах в тот момент потерпели все системные партии страны), Хобсбаум остался верен своим социалистическим идеалам и во всех вопросах конца XX — начала XXI века оставался на стороне угнетенных против угнетателей, критикуя неолиберализм и «войну с терроризмом», продолжая поиск возможностей для более справедливого и свободного мира. Признавая все чудовищные жертвы сталинского социализма, и в конце жизни он не думал раскаиваться в своих убеждениях и утверждал, что стремление к утопии того стоило.

Вышедшие на русском языке книги Эрика Хобсбаума, при всей их важности, не охватывают всего спектра научных интересов историка, стремившегося к системному и широкому охвату исторической реальности. В тени до сих пор остаются его работы, посвященные истории развития промышленности и рабочего класса, английской Промышленной революции; методологии исторической науки; и сколь бы странным не показался такой интерес для историка — рецензии на джазовые произведения. Издание книги «Бандиты» призвано пролить свет на еще одну важную область научных интересов Хобсбаума — «социальный бандитизм». Собственно, именно этому вопросу была посвящена его первая книга «Примитивные повстанцы», вышедшая в 1959 году, и не будет преувеличением сказать, что именно Хобсбаум заложил методологические и теоретические основы для изучения этого феномена. Сегодня практически ни один текст, посвященный данному вопросу, не обходится без упоминания историка-марксиста, вне зависимости от того, соглашается автор с его позицией или нет. Вышедшая в 1969 году книга «Бандиты» сразу же вызвала плодотворную теоретическую дискуссию, и ряд глав впоследствии Хобсбаумом был переписан, от некоторых тезисов он отказался, а собственный метод анализа подкорректировал: подробнее об этом он пишет в собственном послесловии. Так что настоящее издание является не только важным для историографии артефактом, но результатом длительной работы, дискуссий и уточнений, остающимся актуальным и в наши дни.

Феномен «социального бандитизма» возникает раз за разом в самых разных частях света, и чем больше историки собирают данных, тем ярче подтверждается данный тезис и тем очевиднее становится тезис Хобсбаума о том, что «социальный бандитизм» является одним из самых универсальных социальных явлений человеческой истории. Конечно, не любой бандит стано-

вится «социальным», хотя граница его с «антисоциальным бандитизмом» довольно пластична в конкретных проявлениях, но и «социальные бандиты» не нуждаются в идеализации, важно отделять легенды от порождающей их реальности. Этот феномен характерен для аграрных обществ, в момент их разрушений под влиянием внутренних и внешних факторов, когда часть крестьян выдавливается из привычной жизни и обращается к неспокойной и дерзкой жизни бандита, становясь людьми «вне закона», но сохраняя при этом связи со своим традиционным сообществом, рассматривающим такого бандита как героя, мстителя и борца за справедливость. Бандиты по самой своей природе бросают вызов сложившемуся порядку классового общества и политических ролей, а при совпадении ряда факторов могут даже вступить в поле политики и сыграть свою роль в малопонятных крестьянам процессах, становясь реальной исторической силой, ведущей к часто непредсказуемым последствиям, даже противоположным ожиданиям самих бандитов. Понимание того, как и почему возникает и развивается «социальный бандитизм», каковы механизмы функционирования этого явления, кто и по каким причинам становятся «социальными бандитами» и что они впоследствии начинают символизировать для родивших их сообществ весьма важно для лучшего понимания острейших проблем и прошлого и даже отчасти настоящего.

В конце этого небольшого предисловия, лишь в общих чертах описывающего жизнь и творчество великого историка, будет уместно рассказать о типичном «социальном бандите», действовавшем на территории Российской империи в начале XX века, вскользь упоминаемого и самим Хобсбаумом.

Речь идет о знаменитом чеченском абреке Зелимхане.

Рассказывают о нем следующую историю. Родился Зелимхан Гушмазукаев в 1872 году в селе Харачой Грозненского округа Терской области (Веденский район). Был семейным обеспеченным человеком и не помышлял о бандитской судьбе. Но царская судебная система, вмешавшаяся в конфликт, основанный на традиционном для горского сообщества институте кровной мести, уже после примирения семей, несправедливо, в результате взятки, приговорила его в 1901 году к трем с половиной годам исправительных работ в Оренбургской области. Даже начало истории типично для большинства «социальных бандитов», не понимающих и не принимающих законов модерного государства, противопоставленных традиционному укладу, вдобавок к чему присутствует и очевидная несправедливость.

В целом решение было не очень удачным. Зелимхан бежал из грозненской тюрьмы, вернулся в родной горный район и приступил к противоправным

действиям, мстя за унижение: убийства царских чиновников и офицеров, ограбления банков, казенных учреждений, поездов и т.д. Но он не стремился к личному обогащению, и добытые деньги и ценности нередко распределялись среди бедных крестьян. О стремительно прославившемся абреке начали слагать песни, а в горных селениях Чечни Зелимхан получил прозвище Наместник Гор, в противовес наместнику Его Императорского Величества на Кавказе.

Большого размаха его деятельность приобрела во время революции 1905–1907 годов, когда поднялась волна крестьянских выступлений, направленных на изгнание чуждых чиновников, захват земель и отказ платить налоги и повинности. В октябре 1905 года в отместку за 17 расстрелянных войсками на Грозненском базаре мирных жителей он расстрелял такое же количество пассажиров-офицеров из остановленного поезда. В апреле 1906 года убил начальника Грозненского округа, в 1908 году — начальника Веденского округа за попытки осуществить антикрестьянские проекты по землеустройству. В январе 1910 года совершил налет на Грозненский вокзал и увез из кассы 18 000 рублей. Одним из самых громких дел Зелимхана стало нападение в 1910 году на Кизляр — переодевшись казаками, его отряд экспроприировал Кизлярский банк. При этом Зелимхан заблаговременно предупредил власти о предстоящем нападении и сообщил о месте и времени планируемой операции.

В 1911 году на чеченского социального бандита вышли студенты-анархисты из Ростова-на-Дону. От них он узнал, что «царь не только чеченцам зло делает», а также и о борьбе рабочих и крестьян по всей России. Зелимхан с пониманием отнесся к гостям, анархисты вручили ему красно-черный флаг, несколько бомб и печать, на которой было написано: «Группа кавказских горных террористов-анархистов. Атаман Зелимхан». С этого момента Зелимхан скреплял свои послания и ультиматумы этой печатью.

По легендам, он всегда сочувственно относился к бедноте, невзирая на национальность и вероисповедание, оказывал всяческое содействие, покровительствовал и защищал их. Был жесток по отношению к царским офицерам и представителям власти, выбирая в качестве объектов мести наиболее ненавистных простым людям, но предельно великодушен по отношению к храброму врагу. Был честен, справедлив, дерзок и бесстрашен.

Существует история, что во время гастролей по Северному Кавказу в заложники к Зелимхану попал знаменитый певец Федор Шаляпин. Когда абрек узнал, кто оказался у него в руки, то только попросил его спеть, а затем растроганный до слез, отпустил на свободу.

Зелимхан пользовался колоссальной поддержкой внутри горского сообщества, находившегося в тяжелом материальном положении, недовольного и растерянного наступлением модернизации и контролем русской царской администрации при непрекращающихся конфликтах с терским казачеством. О Зелимхане слагали песни и рассказывали вероятные и невероятные истории. На его поимку были направлены регулярные войска, проводились карательные экспедиции, аулы облагались штрафами, а за голову была установлена награда 18 000 рублей, но на протяжении 13 лет он оставался неуловим. Из самых трудных ситуаций ему удавалось выходить невредимым.

Даже смерть в историях о Землихане пришла к нему как бы по всем канонам легенд о «социальных бандитах». Окруженный и тяжелобольной, выданный предателем, он смело в одиночку вступил в сражение с отрядом казаков и как будто благодаря магии или чуду сражался и сражал в бою врагов, несмотря на попадавшие в его тело пули.

Зелимхан получил признание не только в период своей бурной деятельности в горах Кавказа, память о нем сохранилась и после Российской революции. В 1926 году Олег Фрелих снял про него немое кино, в 1930 году вышла биографическая повесть Дзахо Атуева, а в 1968 году — биографический роман Магомета Мамокаева; один из героев романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» является внучатым племянником Зелимхана.

Сын Зелимхана, Умар-Али Зелимханов, стал главой Веденского НКВД и погиб в стычке во время зачистки чеченцев, уклонявшихся от депортации. Новый всплеск интереса к его фигуре произошел в Чечне в начале 1990-х годов в связи с известными трагичными событиями, и судя по всему, и сегодня истории об этом честном и справедливом бандите, заступавшемся за бедных и мстившего богатым и представителям власти, остаются популярными.

Очевидно, что этот образ абрека относится к области историй и легенд, а действительно научное исследование жизни и деятельности Зелимхана, как и многих подобных ему в российской истории, еще ждет своей очереди. Работа Эрика Хобсбаума про «социальный бандитизм» делает такое исследование возможным, включая его в широкий контекст и предлагая влиятельную методологию, давая возможность в том числе отделить приятные многим легенды от противоречивой исторической действительности.

Константин Харитонов

Предисловие

В начале 1950-х годов я сделал весьма любопытное наблюдение: по всей Европе о самых разных бандитах и разбойниках складывались похожие истории и мифы как о вершителях справедливости и борцах с неравенством. Впрочем, при дальнейшем изучении становилось всё яснее, что это не чисто европейский феномен, а всемирный. Иными словами, если «...всю землю от Китая до Перу мы осмотрим...»[1], то обнаружим присутствие вышеупомянутых «героев» на всех обитаемых континентах.

Это наблюдение легло в основу эссе «Социальный бандит», первой главы «*Примитивных мятежников*» (University of Manchester press, 1959) — моей книги исследований архаических форм социальных движений.

Десять лет спустя дальнейшее исследование вопроса, особенно на почве Латинской Америки, вылилось в первое издание этой книги (*Бандиты*. Weidenfeld & Nicolson, London, 1969). Это, по сути, стало отправной точкой быстро растущего числа исследователей всемирной истории бандитов, бóльшая часть которого не приняла тезис «социальный бандитизм» (во всяком случае, после критики Антона Блока в 1971 году), поменьшей мере в его исходном значении. Последующие издания (Penguin Books, 1971; американское издание: Pantheon Books, 1981), ныне полностью распроданные, были исправлены и дополнены, обильно использован новый материал с учетом той критики, которая мне показалась конструктивной. Читателям предлагается четвертая, исправленная, редакция «*Бандитов*».

Помимо того что издатели уверены в том, что книга по сей день представляет интерес для читателей, для подготовки этого издания было три основных причины. Первая, самая очевидная,

---

[1] *Джонсон С.* Суетность человеческих желаний / пер. Р. Дубровкина. URL: http://dubrovkin.imwerden.de/doku.php/johnson. — *Прим. перев.*

заключается в том, что с 1981 года вышло много значительных работ об истории бандитизма и его проявлениях в Китае, Оттоманской империи и на Балканах, в Латинской Америке и Средиземноморье и других регионах мира. Не говоря уже о давно ожидаемой биографии Панчо Вильи, написанной Фридрихом Кацем. Всё это не просто предоставило много нового материала, но и значительно расширило само понимание феномена бандитизма в обществе. В этом издании я постарался максимально учесть новейшие открытия (нужно также отметить, что критика *«Бандитов»* с тех пор не получила большого развития).

Вторая причина состоит в том, что в наши дни читатели вновь сталкиваются с теми историческими условиями, в которых процветает локальный или глобальный бандитизм. К этому привело стремительное разрушение государственной власти во многих частях света, а также заметная потеря способности даже некогда мощных и развитых государств поддерживать уровень законопорядка, установленный ими в XIX и XX веках. В свете ситуации в современной Чечне[1] мы иначе рассматриваем всплеск разбойничества в Средиземноморье конца XVI века, чем делали это в 1960-х годах.

Третья причина заключается в том, что я как автор, гордясь основанием целого нового направления в истории, не могу не предпринять попытки опровергнуть утверждение в рецензии хорошего историка на две мои книги по истории бандитизма: «Сегодня от тезисов Хобсбаума не так уж много осталось»[1] (примечания, помеченные арабскими цифрами, см. в конце издания. — *Прим. ред.*) Если бы это и впрямь было так, не оставалось бы повода для нового издания «Бандитов». Книга просто устарела бы, ее не спасли бы дополнения и исправления, хотя, возможно, она и оставалась бы документом своего времени. Однако, с моей точки зрения, это не так. В первой части послесловия я рассматриваю основную критику своих исходных посылок, тем самым расширяя и улучшая его версию 1981 года.

В любом случае, очевидно, что спустя тридцать лет после первой публикации как сами идеи, так и структура изложения

---

[1] Имеется в виду обстановка в Чечне в конце 1990-х годов. Предисловие написано в июле 1999 года. Вторая чеченская война началась в августе 1999 года после вторжения боевиков в Дагестан. — *Прим. ред.*

нуждаются в серьезном переосмыслении и обновлении. Я попытался сделать это посредством более систематического анализа проблемы бандитизма (включая социальный) в политической структуре — государств и землевладельцев, их организаций и стратегий, — в рамках которой оно реализуется. Хотя этот аспект темы присутствовал и в ранних изданиях книги, здесь я постарался разглядеть с еще большей четкостью «значительную роль мятежей, разбойничества, бандитизма в политической истории»[2].

Я принял во внимание также самую убедительную критику в адрес моей книги, а именно критику попытки использования бандитских песен и историй для выявления природы мифа о социальном бандите; и что фольклор довольно спорный источник «сведений о том, насколько точно бандиты соответствовали той социальной роли, которую они исполняли в рамках драмы крестьянской жизни».

Сейчас уже вполне ясно, что для второй цели народное творчество точно не годится. Во всяком случае, те персоны, вокруг которых складывались подобные мифы, в реальной жизни нередко сильно отличались от своего публичного образа; это утверждение относится и ко многим «добрым разбойникам», упоминаемым в первых изданиях этой книги. Стало также ясно, что песни и истории не могут полностью использоваться и для первой цели без тщательного предварительного анализа этого литературного жанра, трансформации его аудитории, его традиций, топосов, способов производства, воспроизведения и распространения. Народные баллады, как и записи устной истории, являются весьма ненадежным источником и, подобно устной традиции, подвержены воздействию самого того процесса, посредством которого они передаются из поколения в поколение. Несмотря на все это, для определенных целей их можно и нужно использовать. Надеюсь, что на этот раз я в этом не вышел за рамки здравого смысла.

Таким образом, перед вами значительно расширенное и пересмотренное издание, хотя и не все исходные девять глав (и приложение «Женщины и бандитизм», приложение «А» нового издания) потребовали серьезного переписывания, будучи обновлены лишь в необходимых местах. Основные добавления к последнему британскому изданию (1971 года) таковы:

1) вводный «Портрет разбойника» (ранее опубликованный как часть предисловия к американскому изданию 1981 года);

2) новая глава «Бандиты, государства и власть»;

3) приложение «Б» «Бандитская традиция» и двухчастное послесловие (расширенное и исправленное по сравнению с изданием 1981 года), в котором, как упоминалось выше, представлен обзор критики, а также сохранившихся практик классической бандитской традиции конца XX века.

Раздел «Дополнительная литература» был в значительной степени переписан. Предисловия к предыдущим изданиям изъяты.

В качестве благодарности и признательности я могу только повторить то, что уже говорил в первом издании. Бóльшая часть книги основана на опубликованных материалах и информации, добытой или, лучше сказать, с энтузиазмом и добровольно мне преподнесенной друзьями и коллегами, знающими о моих интересах в этой области, а также на результатах семинаров в разных странах, содержавших критику моих идей и направлявших меня к дополнительным источникам.

Я с удовлетворением признаю, что постояно растущая библиография по истории бандитизма вызвана моим вкладом в изучение проблемы, и делаю это с тем большим энтузиазмом, что основная часть работ в этой области с 1969 года базируется на исследованиях, стимулированных первым изданием «Бандитов».

Мои непосредственные контакты с «героями» книги были очень ограниченными. В основу 9-й главы легло интенсивное многонедельное исследование жизни каталонских анархистов, находящихся вне закона (1960), которое я не смог бы предпринять без помощи и рекомендаций г-на Антуана Телле из Парижа. Основной тезис 4-й главы был подтвержден одним днем в компании дона Хосе Авалоса из Пампа-Гранде (провинция Чако, Аргентина), фермера и бывшего сержанта сельской полиции. В 1981 году, после конференции о бандитах и преступниках на Сицилии, я имел возможность встретиться с двумя бывшими членами банды Сальваторе Джулиано, а также с другими людьми, знавшими о его деятельности из первых рук. Тем не менее я гораздо больше обязан друзьям и коллегам в Колумбии, Италии и Мексике, чье знакомство с миром вооруженных преступников значительно превышает мое как в объеме, так и в качестве. Я многим обязан

Пино Арлакки, а в Колумбии — Карлосу Мигелю Ортису, Эдуардо Писарро, Росио Лондоньо и ее друзьям, некоторых из них уже нет в живых. Моя же высокая оценка работы Гонсало Санчеса и Донни Меертенса следует из самого моего текста.

Э. Дж. Хобсбаум
Лондон, июнь 1999

Портрет разбойника

Лучший способ подступиться к сложной теме «Социальный бандитизм», обсуждаемой в этой книге, рассмотреть одного разбойника на конкретном примере. В моем распоряжении оказались материалы, собранные студентом университета Адис-Абебы (Эфиопия) и переданные мне его преподавателем. Эти материалы — свидетельства местных информантов и публикации в прессе (на английском языке и языке тигринья) — я получил без имени автора, по причинам, связанным со сложной политической ситуацией в Эфиопии и Эритрее в то время. Если автор прочитает эту книгу и пожелает раскрыть свое имя, я буду более чем счастлив выразить ему свою признательность.

В кратком изложении история Вельдегабриеля, старшего из братьев Месазги (1902/3–1964), такова, и она вполне красноречива.

Отец Вельдегабриеля, крестьянин из деревни Беракит в провинции Мерета-Себене, когда Эритрея была итальянской колонией, умер в тюрьме. Он был брошен туда вместе с другими жителями деревни, выступавшими против назначения нового губернатора провинции не из числа ее уроженцев. Мать Вельдегабриеля обвинила в случившемся непопулярного губернатора и призвала к кровной мести, но ее сыновья были слишком юны, а общественное мнение относительно вины губернатора не было однозначным, к тому же итальянцы запрещали кровничество. Дети выросли и стали мирными крестьянами. Вельдегабриель стал аскари[1], вступил в итальянские колониальные войска и вместе с двумя братьями служил в Ливии во время итало-эфиопской войны 1935–1936 годов, а также во время эфиопской оккупации (1936–1941). После

[1] Аскари (*араб.*) — местный, как правило, солдат, служащий в колониальных войсках. — *Прим. перев.*

победы англичан они вернулись домой к своему хозяйству, с небольшими сбережениями, скромным владением итальянского и отменными познаниями в оружии и военном деле. Вельдегабриель был хорошим солдатом, его повысили до сержанта.

Итальянский колониальный режим был повержен, Эритрея оказалась под временным управлением англичан. В беспокойной послевоенной ситуации в стране процветал бандитизм, большое число бывших аскари представляло для него естественный источник живой силы.

Работы было немного, эритрейцы находились в неравном положении с итальянцами. Иммигранты из Эфиопии оказывались в худшей ситуации, чем коренное население. В горах учащались стычки между этническими группировками, делившими землю и скот. Кровная вражда возрождалась, итальянская администрация более не препятствовала отправлению этого священного долга. Более того, в сложившихся обстоятельствах разбой обеспечивал какое-то подобие карьерной перспективы, по крайней мере на протяжении некоторого времени. Братья Месазги влились в ряды разбойников из-за своей старой семейной вражды, да и тяготы гражданской жизни, вероятно, способствовали тому, что она разгоралась все сильнее.

Случилось так, что губернатор провинции, сын того человека, которого можно было считать ответственным за смерть отца Месазги, стал непопулярным примерно по тем же причинам, что ранее его отец: он назначил в управление деревней человека родом из другого места, представителя клана, составляющего меньшинство в Бераките. Вельдегабриель выступил против него от лица всей деревни и оказался за решеткой, а когда спустя год вышел на свободу, ему продолжали угрожать. Братья решили убить нового губернатора — это предусматривалось законами кровной мести. Чтобы обезопасить свои семьи, они развелись с женами. Тем самым развязали себе руки и обрели свободу передвижения, без которой разбойникам сложно действовать. Братья застрелили губернатора и скрылись в лесах, полагаясь на то, что родственники и друзья помогут припасами. Большинство жителей деревни поддерживало их, как защитников своих прав, да и беглецы в любом случае не стали бы грабить своих бывших соседей.

Клан меньшинства вместе с родней губернатора, естественно, были настроены против братьев и помогали британским властям. Месазги не убивали их, но вполне успешно делали их жизнь невыносимой на местном уровне. Большинство членов клана покинули деревню, а популярность братьев в деревне выросла еще больше, поскольку освободившиеся земли перешли коренным сельчанам. Однако остальное население провинции считало их обычными бандитами, поскольку сомневалось в законности кровной мести. Бандитов терпели поскольку они не угрожали местным жителям, которые их не трогали.

Братьям требовалась широкая поддержка, в том числе и для борьбы с семьей губернатора, поэтому они пустились в путь по окрестным деревням, убеждая крестьян не работать на губернаторских полях, а разделить их между собой. Сочетая уговоры с умелым применением тактики «сильной руки», они убедили многие деревни отвергнуть полуфеодальное право, поставить точку в бесконтрольном распоряжения феодалами землей и бесплатным трудом в провинции Мерета-Себене. Начиная с этого момента братья перестали быть просто бандитами, на них стали смотреть, как на особенных, или социальных, бандитов. Вследствие этого они пользовались защитой от полиции, которая была послана на их поимку (при этом за счет самих деревенских жителей).

Когда полиция отрезала братьев от их источников ресурсов, тем пришлось перейти к прямому разбою на главном местном тракте. К ним присоединились и другие бандиты. Но поскольку грабеж соотечественников-эритрейцев мог привести к новым вспышкам кровной мести, они предпочитали грабить итальянцев. Один из братьев погиб, а двое оставшихся начали в отместку убивать всех итальянцев, заработав тем самым репутацию защитников эритрейцев. Хотя общее число убитых ими не превышало одиннадцати человек, их способности были сильно преувеличены россказнями о неуязвимости, которые придавали им классические героические черты социальных бандитов. Так рождался миф. Более того, поскольку дороги стали небезопасны для итальянских водителей, эритрейцев допустили до управления автомобилями, что ранее было запрещено как итальянской администрацией, так и британской. Это приветствовалось как повышение статуса, да и просто создавало рабочие места. Многие

говорили: «Да здравствуют братья Месазги, они пустили нас за руль». Братья попали в политику.

К тому времени (1948) эритрейская внутренняя политика осложнялась неопределенностью будущего этой бывшей колонии. Сторонники объединения с Эфиопией противостояли тем, кто выступал за различные формы независимости Эритреи. Видные фигуры юнионистов убедили бандитов поддержать объединение, и почти все христиане встали на их сторону, поскольку это давало им ощущение самоидентификации и уверенности в противостоянии с преимущественно мусульманским фронтом независимости. Несмотря на поддержку объединения, братья, чувствуя конъюнктуру, по политическим причинам не убивали эритрейцев, чтобы не разжигать кровную вражду, и не уничтожали их дома и посевы. Поддержка Эфиопии обеспечивала бандитов не только оружием и деньгами, но и давала им убежище за границей. Хотя Вельдегабриель и принимал участие в принуждении Эритреи к объединению, и вел боевые действия против мусульман, он чрезвычайно внимательно следил за тем, чтобы не вовлекать себя самого и свою родную провинцию Мерета-Себене в стычки, которые не касались их напрямую.

Когда ООН в конечном итоге проголосовала за союзное образование, бандиты потеряли поддержку партии объединения и эфиопского правительства. Большинство было амнистировано в 1951 году, но Вельдегабриель оставался вне закона до 1952 года и оказался в числе тех четырнадцати бандитов, которых англичане сочли слишком одиозными, чтобы оставить их в Эритрее. Для них было организовано политическое убежище в Эфиопии, где император выдал им небольшие участки земли в провинции Тигре, а также ежемесячное пособие. Увы, они теперь сами превратились в чужаков, окруженных враждебно настроенными сельчанами. Все обещания императора дать наделы получше, увеличить содержание и обеспечить бесплатное обучение детям оставались невыполненными. Постепенно все бандиты, кроме самого Вельдегабриеля, переместились обратно в Эритрею.

Он сам мог бы, конечно, вернуться в Беракит, где был уважаемым членом общины, с тех пор как перестал быть разбойником. Он вновь соединился браком с женой, поскольку ей больше ничто не угрожало, а ему не нужно было больше скитаться. Но его

враги — родня убитого губернатора — все еще были у власти в Мерета-Себене и находились с его семьей в кровной вражде, так что Вельдегабриель предпочел жить в Тигре. Он умер в возрасте 61 года в адис-абебской больнице. В Бераките была проведена поминальная служба, которую, по сообщениям одной газеты, посетили многие представители эритрейской знати, а похоронные певцы воспевали достижения усопшего. У патриотов Эритреи двойственное отношение к фигуре Вельдегабриеля: народный мститель, послуживший инструментом присоединения страны к Эфиопии. Но его политика и тактика не были свойственны XX веку — они были из древности, из времен Робин Гуда, противостоявшего шерифу Ноттингемскому.

Читателям Запада, насчитывающего третье тысячелетие своей истории, может показаться странной и непонятной биография таких людей, как братья Месазги. Последующие главы, я надеюсь, смогут сделать это более понятным.

Глава 1

Бандиты, государства и власть

Изменникам из своей шайки
Он велел звать себя «господином»,
Он презирал лучших из них
И хотел быть всех выше...

Вы, безоружные низкие люди,
корпите в полях и земле,
нечего вам ходить с оружием,
вам лопаты больше подходят...
Вернитесь к своим плугам...
Незачем опять будоражить мир.

Баллада на смерть бандита
Джакомо дель Галло, 1610[3]

В лесах и в горах банды жестоких и вооруженных мужчин (женщины среди них традиционно встречались редко) вне пределов власти и закона принудительно навязывали свою волю жертвам, используя грабежи и насилие. Бандиты одновременно бросали этим вызов экономическому, общественному и политическому порядку, провоцируя тех, кто держал в своих руках власть, закон и контроль над ресурсами либо претендовал на них. В этом заключается историческое значение бандитизма в классовых обществах и государствах. «Социальный бандитизм», которому посвящена моя книга, является одним из аспектов этих вызовов.

Бандитизм, как специфическое явление, не может, следовательно, существовать вне социально-экономических и политических режимов, к которым обращены его вызовы. Например, и, как мы увидим, это важно, — в обществе без государственно-правовых институтов, где важнейшим является закон кровничества (либо переговоры между кланами обидчиков и жертв), убийцы не преступники, а воюющие стороны. Они становятся преступниками и

подлежат наказанию в таком качестве только тогда, когда их судят по критериям публичного закона и порядка, чуждым им самим[1].

Большинство крестьян в результате развития сельского хозяйства, промышленности, роста городов и усиления роли бюрократии было частью общества, где оно осознавало себя как группу, стоящую отдельно и ниже по отношению к богатым и/или власть имущим, хотя часто воспринимало себя и разобщенно, в индивидуальной зависимости от того или иного члена второй группы.

Такого рода отношения часто порождают неявное возмущение. Как показывает песня городского рифмоплета, бандитизм делает явной возможность отказа от собственной неполноценности, по крайней мере в мужском мире. Самим своим существованием он подразумевает вызов социальному устройству общества. Однако, до возникновения современной капиталистической экономики, социальные и экономические отношения менялись очень медленно, если вообще менялись. С большой долей вероятности жители Болоньи с VIII до XVIII века слышали бы в балладе о Джакомо дель Галло одно и то же, хотя, как мы увидим ниже, до XVI века он не считался бы «бандитом»[4].

С социальной точки зрения история бандитизма делится на три периода:

– рождение, когда добандитские сообщества становились составной частью классовых и государственных обществ;

– трансформация, связанная с подъемом капитализма на локальном и глобальном уровнях;

– долгий период развития в различных социальных условиях и государственных режимах.

---

[1] Повесть Вальтера Скотта «Два гуртовщика» прекрасно иллюстрирует этот конфликт законов. По дороге в Англию гуртовщик-шотландец повздорил с напарником из Англии по поводу пастбища для скота. Англичанин сбил с ног шотландца, который в ответ нанес смертельный удар кинжалом, потому что в его системе взглядов это оскорбление можно было смыть только убийством. Судья (англичанин), судивший шотландца за убийство, объяснил присяжным, что, по законам подсудимого, тот не является преступником, а лишь выполнявшим свой долг. Несмотря на это, по законам Соединенного Королевства у присяжных не было выбора — им пришлось осудить его, как преступника. — *Здесь и далее прим. автора, если не указано иное.*

Первый этап, кажущийся во многих аспектах исторически наиболее от нас удаленным, в действительности таковым не является, потому что бандитизм в качестве массового явления может возникать не только из сопротивления бесклассового общества перед возникновением (или принудительным введением) классового. Это происходит и когда традиционное сельскохозяйственное классовое общество противостоит наступлению другого сельскохозяйственного общества (например, оседлое земледелие против кочевого или отгонно-пастбищного скотоводства), или городского уклада, или иностранных классовых обществ, государств и режимов.

По сути, как мы покажем позднее, исторически бандитизм, как выражение коллективного сопротивления, был очень распространен, тем более что в таких обстоятельствах он получал заметную поддержку всех слоев традиционного общества, не исключая и власть имущих. Именно это объединяет между собой полукочевую пастушескую экономику, традиционно поддерживающую бандитов на Балканах и в Анатолии[5], свободных гаучо аргентинских равнин XIX века, сопротивляющихся законам города и буржуазной собственности вместе с деревенскими старейшинами, и работников колумбийских кофейных плантаций XX века, встающих на сторону «своих» бандитов. Все они противостоят надвигающейся мощи внешней власти и капитала[6].

За пределами этой особой ситуации, в длинной второй фазе своей истории бандитизм, как социальный феномен, является результатом сочетания классовых отношений, богатства и власти в крестьянском обществе. Сардинец Антонио Грамши так описывал ситуацию на своем родном острове в начале XX века: «Классовая борьба смешивается с разбоем, шантажом, поджогами лесов, калеченьем скота, похищением женщин и детей, нападением на муниципальные учреждения»[7]. В той мере, в которой бандитизм продолжает существовать в сельской местности в эпоху развитого капитализма, он в первую очередь выражает, как мы увидим, ненависть к тем, кто дает деньги в долг, и к тем, кто включает крестьян в глобальный рынок, уступая, возможно, только недовольству далеким правительством.

Есть, однако, и существенное различие между бандитизмом первых двух фаз и третьей фазы. Это — голод. В XIX и XX веках

регионы капиталистического сельского хозяйства, где встречался бандитизм — на ум приходят Соединенные Штаты, Аргентина и Австралия, — людям в сельских районах больше не угрожала голодная смерть. В большинстве классических бандитских регионов Средневековья и раннего Нового времени, то есть вокруг Средиземного моря, жизнь на грани голода была обыденностью. «Циклы голода определяли основу цикла грабежей»[8]. Расцвет бразильских *кангасо* начинается со смертоносной засухи 1877–1878 годов и достигает своего количественного пика в засуху 1919 года[9]. Как гласит старая китайская поговорка: «Лучше преступить закон, чем умереть от голода»[10]. Бедные регионы были бандитскими регионами. Те месяцы в сельскохозяйственном годовом цикле, когда пищи было мало и работы тоже мало, становились месяцами грабежей. Когда наводнения уничтожали хлеб, они умножали бандитов.

Однако историков социума и экономики гораздо больше интересует устройство бандитизма (социальное или какое-то иное), чем эффект, оказываемый бандитами на широкий круг явлений своего времени. В самом деле, большинство бандитов, прославившихся в песнях и историях, известны исключительно в локальных масштабах. Их имена и подвиги не имеют большого значения. Сам факт их существования на самом деле вторичен для бандитского мифа. Лишь очень немногим, даже среди архивных исследователей, важно идентифицировать Робин Гуда (если он и впрямь был исторической фигурой). Нам известно, что Хоакин Мурьета из Калифорнии был выдумкой, что не мешает ему быть составной частью структурного анализа бандитизма, как социального феномена.

С точки зрения политики история бандитизма значительно более драматична. Все происшествия играют свою роль, порой весьма существенную. Некоторые короли и императоры начинали свой жизненный путь с командования бандитскими шайками — как, например, император Теодор II, правивший Эфиопией в 1855–1858 годах (по устным сообщениям), или полководец Чжан Цзолинь в Маньчжурии между падением Китайской империи и японским завоеванием. Не без оснований утверждалось, что и Хосе Антонио Артигас, основатель независимой от Аргентины и Бразилии республики Уругвай, начинал бандитом, или, скорее, профессиональным контрабандистом и угонщиком скота, что, впрочем, не так далеко одно от другого[11]. Более того, история бандитизма вообще в основном

сводится к истории его массовых всплесков — трансформации локальных, эндемических условий его существования в большинстве географических регионов в массовые эпидемии или даже — как утверждалось относительно Китая в 1930-е годы — в пандемии.

На самом деле, серьезная современная история бандитизма, по-видимому, начинается с Фернана Броделя, который в своей великой книге о Средиземноморье открывает поразительный пансредиземноморский взрыв бандитизма в последние десятилетия XVI века и в первые — XVII[12].

Это связано с тем, что история *власти*, то есть способности к принудительному установлению контроля над населением и ресурсами, показывает гораздо большую вариативность и изменчивость последней, нежели медленно меняющихся структур экономических и общественных укладов.

Таким образом, чтобы подойти к пониманию бандитизма и проследить его историю, нам необходимо рассматривать его в контексте истории власти, то есть контроля источников власти (правительств или других центров ее сосредоточения, как, например, землевладельцы и скотовладельцы в сельских регионах) над тем, что происходит на территориях и с населением, которые они объявляют находящимися в их сфере влияния. Подобный контроль всегда ограничен определенной территорией и населением, поскольку вплоть до сегодняшнего дня все государства, даже самые сильные империи или иные претенденты на власть, всегда вынуждены сосуществовать с теми, с кем они соприкасаются своими сферами влияния.

Кроме того, даже внутри контролируемого радиуса власть на протяжении всей истории всегда ограничивалась по трем причинам:

– из-за того, что методы контролирования не отвечали своим задачам;

– из-за того, что их пригодность зависела в определенной степени от готовности самих подданных подчиняться или, наоборот, от их способности избежать подчинения;

– из-за того, что власти (частично по вышеуказанным причинам) пытались напрямую контролировать только некоторые сферы жизни своих подданных.

Даже сегодня, к примеру, колумбийское правительство не контролирует некоторые области страны, если не считать периодических военных вылазок; а Королевская полиция Ольстера знает, что в некоторых ярко выраженных католических районах Белфаста полицейские функции вместо государства выполняют отряды «республиканских» боевиков.

Бандиты, по определению, отказываются подчиняться, находятся за пределами воздействия власти, сами являются потенциальными центрами власти и, следовательно, потенциальными мятежниками.

Исходное значение итальянского слова *bandito* — это человек, «оказавшийся вне закона», по любым причинам, хотя никого не удивляло, что эти люди начинали грабить.

Английское слово *brigands* означало лишь членов вооруженной группы, не относящейся к регулярным частям (современное значение «разбойник» появляется у этого слова в конце XV века).

Испанское слово *bandoleros*, обычно употребляющееся для обозначения бандитов, появилось из каталонского слова, означающего вооруженных партизан в гражданских стычках и бунтах, охвативших Каталонию в XV–XVII веках, которые «позднее деградировали до бандитизма»[13].

Турецкое слово *celali* означало в Оттоманской империи XVI и XVII веков бандитов, которые, согласно утверждениям недавнего исследования, работали скорее на укрепление султанской власти, чем подрывали ее. Появилось их название после идеологического восстания неортодоксальных исламистов в 1519 году и произошло от имени вождя восстания — шейха Джелаля, что позволило правительству «использовать этот ярлык для оправдания репрессий в отношении бандитов, даже если у последних не было ни мятежных идей, ни каких-либо других проявлений, свойственных настоящим *джелали*»[14].

Шифта с территорий Африканского Рога определяются одним хорошо известным амхарским словарем как бандиты, отвергшие власть короля или императора и живущие в лесах или пустыне, причиняющие беспокойство и отказывающиеся платить налоги или подати; короче говоря, воры и мятежники.

И наконец, общим местом политического мышления в традиционном Китае было связывать периодически ожидаемое падение династий с бандитизмом.

История бандитизма, в том числе и социального, не может, таким образом, быть понята и правильным образом изучена вне истории политической власти, которая в своих высших образцах является властью государств и империй. В классовых обществах до наступления эры современного капитализма власть физического принуждения в конечном итоге лежала также в основе экономической власти. То есть главным механизмом присвоения прибавочного продукта, который создавался теми, кто производил — по преимуществу на земле, — была сила либо угроза ее применения[15]. Теперь дело уже обстоит не так, хотя политическая власть, то есть возможность применения физического насилия, остается базой тех доходов, которые государство отнимает у обитателей своих территорий. Отказ платить налоги преследуется законом, а отказ подчиняться закону в конечном итоге наказывается тюрьмой.

На протяжении большей части истории земледельческих обществ политическая власть, под сенью которой жили обычно сообщества обычных крестьян, была местной или региональной. Люди жили под началом землевладельцев, которые могли мобилизовать мужчин и выстраивать системы принуждения и покровительства с помощью или без помощи вассальной зависимости либо поддержки со стороны сверхъестественных начал.

Царства и империи (где они существовали) были скорее редкими птицами, чем постоянными действующими лицами, даже когда королю или императору удавалось заменить (или хотя бы дополнить) местный закон своим общим и своими судьями, как в средневековой Англии и Оттоманской империи (для подданных-суннитов). Большей частью власть короля или императора, если не считать их статуса крупных землевладельцев, реализовывалась непосредственно через их наместников и правителей из местных жителей, которые скорее были склонны к переговорам, чем к прямым приказам сверху.

Сила землевладельцев и государств была велика, но непостоянна. Их слабость заключалась в том, что у них не хватало материальных средств, включая и силы принуждения и обеспечения законности, чтобы осуществлять *постоянный* контроль над всем населением (даже за невооруженной его частью), либо хоть сколько-нибудь действенный контроль над наиболее недоступ-

ными частями собственных территорий. Это же относилось и к местным правителям, находившимся ближе к своей земле и своим людям, чем далекие высшие князья. В любом случае в мире, где было много землевладельцев и семейного соперничества, как правило, находилось пространство для маневра. Сам институт формального объявления вне закона указывает на ограниченность властной системы. *Каждый* имел право убить преступника именно потому, что никакая власть не была в состоянии преследовать его по закону.

Если мы взглянем на государства, контраст особенно бросается в глаза. За последние два с половиной столетия способность осуществлять физический контроль все более концентрировалась в так называемых территориальных или национальных государствах, которые претендовали и, посредством аппарата государственных чиновников или людей, получивших от них разрешение, реализовали практически полную монополию на власть над всем, что происходило в их границах.

Центральный государственный аппарат дотягивается до каждого конкретного человека на национальной территории, а каждый взрослый гражданин, по крайней мере в демократических государствах, обладая правом голоса, дотягивается до национального правительства, влияя на него своим выбором. Сила подобной власти колоссальна — гораздо больше, даже в либеральных демократиях, чем у величайших и наиболее деспотичных империй прошлого, существовавших до XVIII века. Именно эта концентрация власти в современных территориальных государствах практически уничтожила сельский бандитизм, будь он эндемическим или эпидемическим. С концом XX века эта ситуация, возможно, тоже подходит к концу, но последствия такого регресса государственной власти пока невозможно предвидеть.

Мы склонны забывать, что до XIX века ни одно государство с территорией, большей, чем можно было пройти пешком за день-два, не обладало достаточными знаниями, тем более регулярно обновляемыми, о том, кто живет в его границах, кто рождается, кто умирает. Ни одно государство не могло идентифицировать людей за пределами их домов, да и внутри

их тоже — как показывает исследование[1] Натали Дэвис дела «Мартена Герра»[16].

Ни одно государство до появления железных дорог и телеграфа, предшественников современной коммуникационной революции, не могло знать, что происходит в его отдаленных уголках, как и не могло быстро посылать своих агентов для принятия нужных мер. Вряд ли какое-то государство до XIX века могло претендовать на контроль за собственными границами или пытаться (уж не говоря о том, чтобы преуспеть в этих попытках) четко провести демаркационные пограничные линии. Ни одно государство до XIX века не имело возможности содержать эффективную местную полицию в сельских районах, которая бы действовала как прямой агент центрального правительства и покрывала бы всю территорию государства.

За пределами Оттоманской империи ни одно европейское государство до XVII века не имело достаточной власти, чтобы держать постоянную национальную армию, рекрутируемую напрямую, содержащуюся на деньги центрального правительства и им управляемую. Более того, как бы ни хотелось королям и князьям ограничить владение и использование оружия своими людьми, сделать подобного они не могли, даже это не было в их власти. В оседлых феодальных обществах крестьяне были в основном безоружны (несколько иная ситуация наблюдается в кочевых и приграничных зонах), но не аристократия и мелкопоместное дворянство. Только в XIX веке стала возможной действенная государственная монополия на оружие, а эффективные западные правительства, за некоторыми заметными исключениями, подобно США, поставили своей целью полное изъятие оружия из неофициального обращения, включая аристократию — и более того, преуспели в этом, по крайней мере до 1970-х годов.

Таким образом, до наступления триумфа современного национального государства власть ограничивалась неспособностью

[1] В основу посвященной представлениям о человеке у французских крестьян XVI века книги Натали Земон Дэвис «Возвращение Мартина Герра» (1982) легла история крестьянина, покинувшего свою деревню и самозванца, выдававшего себя за пропавшего Мартина Герра и три года прожившего непосредственно в его семье. См.: *Дэвис Н.З.* Возвращение Мартена Герра. М.: Прогресс, 1990. — *Прим. ред.*

верховных правителей действенно монополизировать хождение оружия, их неспособностью содержать и поддерживать достаточно большой и действенный корпус вооруженных и гражданских служащих и, конечно, технической отсталостью информационных, коммуникационных и транспортных потоков.

В любом случае даже в самых мощных царствах и империях физическая сила, верховных ли правителей, или чиновников рангом ниже, или даже (как показывает великий фильм Куросавы «Семь самураев») глав деревенских общин, пытающихся защитить самих себя, зависела от числа бойцов, которых можно было мобилизовать в случае необходимости и которые были бы более или менее постоянно доступны. И наоборот, политическая власть измерялась в количестве бойцов, которых их вождь мог регулярно мобилизовывать.

Слабость власти содержала в себе потенциал для бандитизма. Даже самые сильные империи — Китай, Древняя Римская империя в период расцвета[17] — полагали нормальным некоторую степень наличия бандитизма, считая его явлением, присущим приграничным пастбищным землям и некоторым другим зонам. Однако там, где структура власти была стабильной, масса потенциальных бандитов, если только они не жили за границами власти, притягивалась к тем, кто мог ей быть полезен: к лордам в качестве вассалов, наемных убийц и головорезов; к государству в качестве солдат, гвардейцев и полицейских. Бандитизм как массовое явление, то есть независимо действующие группы вооруженных боевиков, случался только там, где власть была нестабильна, отсутствовала вовсе или терпела крах. В таких случаях бандитизм приобретал характер эпидемии или даже пандемии, как в Китае между падением империи и победой коммунистов. В такие моменты вольные вожди вооруженных людей могли сами вторгнуться в мир реальной власти, подобно тому, как кланы кочевников или группы морских пиратов и сухопутных налетчиков становились некогда завоевателями царств и империй. Разумеется, в такие времена даже те, кто не имел никаких великих общественных, политических или идеологических амбиций, получали гораздо больше возможностей для грабежей. Эпоха германских войн XVII века[1], так же, как эпоха

[1] Имеется в виду Тридцатилетняя война (1618–1648). — *Прим. ред.*

войн во времена Французской революции, были золотым веком для банд грабителей (см. ниже). Возможно, на значительной части планеты опять наступает подобная эпоха с упадком или даже развалом и исчезновением государственной власти, наблюдаемые нами в конце XX века.

Однако за последние пять столетий истории бандитизма власть редко теряла устойчивость или вовсе отсутствовала столь долго, чтобы лидеры автономных вооруженных группировок смогли бы оказаться среди главных действующих лиц на политической или общественной сцене. Они редко оказывались достаточно сильны для этого. Каковы бы ни были их собственные идеи или цели, им нужно было проявлять политический реализм. Лучшим исходом для них оставалось сохранение определенной степени автономии и возможности продавать свою поддержку (без полного перехода на чью-либо сторону) тем, кто готов больше за нее заплатить — то есть тем, кто не смог бы достичь своих целей без этой поддержки. Но в конечном итоге им все равно приходилось договариваться с теми источниками превосходящей власти, которые готовы были их терпеть, либо прекращать существование.

Отсюда проистекают постоянные переговоры между империей и независимыми вооруженными группами или общинами в Оттоманской империи, горцами-боевиками, которые могли вести сопротивленческую борьбу против государства, а могли быть его агентами или и тем и другим одновременно. Поэтому провалились попытки британских эмиссаров во время Второй мировой войны поднять восстание против немецко-итальянской оккупации, привлекая для этого свободные и гарантированно антикоммунистически настроенные военизированные кланы горной Албании. Им было сообщено (устами зятя Уинстона Черчилля), что если они не сделают этого, то будущее послевоенной Албании окажется в руках коммунистического движения сопротивления, но это не убедило представителей кланов, хотя они были не прочь сражаться с кем угодно. Предложение рискнуть будущим клана, оставив себе только одну возможность, очевидно, не имело никакого смысла в их картине мира.

Как мы увидим ниже, подобным конфликтом стратегии и тактики завершился симбиоз бандитов и коммунистов во время Китайской революции. С точки зрения бандитов, коммунисты были

только одним из возможных союзников (или временных патронов). На практике они не сильно отличались от военных правителей или от японцев, хотя в теории были ближе многих к идеологии великого бандитского романа императорского Китая — «Речных заводей». С точки зрения коммунистов, сентиментальное следование традициям бандитского бунта и даже избыточное доверие молодой Красной армии рекрутам из бандитов никак не скрывали того факта, что в долгосрочной перспективе национальное и социальное освобождение не достигалось такими методами.

Как социальная составляющая бандитизма вписывается в его политическую историю? В своей социальной ипостаси он помогает слабым против сильных, бедным против богатых, защитникам справедливости против власти несправедливых; а его политический импульс делает самих бандитов людьми власти, неумолимо затягивает их во вселенную власти. Все это я надеюсь показать в следующих главах.

Глава 2

Что такое социальный бандитизм?

Мы печальны, это правда, но это потому, что нас всегда притесняли. У дворян есть перо, у нас — ружье; они хозяева земли, а мы — гор.
Старый разбойник из Роккамандольфи[18]

Если рядовой разбойник рассчитывает на долгую карьеру он должен быть, или хотя бы притворяться, филантропом, даже если он не стесняясь грабит и убивает. Иначе он рискует потерять народное признание и стать в глазах людей обычным убийцей или грабителем[19].

С точки зрения закона любой член группировки, которая занимается насильственными нападениями и грабежами, является бандитом: от тех, кто отбирает у людей честно заработанные деньги на городском перекрестке, до организованных повстанцев или партизан, не признанных официально таковыми. Сегодня их готовы определять столь же некритично, как террористов, что является признаком исторического заката бандитского имиджа во второй половине XX века. Историкам и социологам не пристало использовать такие грубые дефиниции. В этой книге мы будем рассматривать только некоторые виды грабителей, а именно те, которые *не* являются простыми преступниками или не выглядят в общественном мнении таковыми. Мы в основном будем иметь дело с формами бунта (индивидуального или бунта меньшинства) — внутри крестьянских обществ. Ради удобства изложения мы оставим в стороне городской эквивалент крестьянского бандита-бунтовщика и почти не будем обсуждать многочисленное деревенское преступное сообщество, которое не имеет ни крестьянского происхождения, ни преданности этому сословию, происходя из обедневшего дворянства.

Город и деревня слишком отличаются с точки зрения организации человеческих общин, чтобы их можно было обсуждать в единой терминологии, да и в любом случае бандиты-крестьяне, как и большинство крестьян, не доверяют горожанам и ненавидят их. Бандиты-дворяне (наиболее известные в форме «рыцарей-разбойников» в Германии позднего Средневековья) гораздо лучше смешиваются с крестьянами, но и эти взаимоотношения (которые мы обсудим ниже) достаточно темны и сложны.

Суть социального бандита как явления в том, что он — крестьянин вне закона, преступник в глазах феодала-землевладельца и государства. Но он находится внутри крестьянского общества, которое расценивает его как героя, защитника, мстителя и борца за справедливость, даже порой как лидера освободительного движения, во всяком случае — как объект восхищения, помощи и поддержки. В тех случаях, когда традиционное общество сопротивляется историческому наступлению своих центральных правительств или иностранных государств, бандиты могут получать помощь и поддержку даже от местных землевладельцев. Эти отношения между обычным крестьянином и бунтовщиком, преступником и грабителем и делают столь интересным и значимым социальный бандитизм. Это же отличает его от двух других разновидностей сельской преступности: от деятельности шаек, состоящих из профессиональных представителей преступного мира, или сугубых разбойников («обычных воришек») и от сообществ, для которых набеги являются частью их образа жизни, как, например, для бедуинов. В обоих случаях нападающие и жертвы чужие друг другу и враждебно настроены.

Профессиональные грабители и налетчики видят в крестьянах свою добычу и ожидают от них враждебного отношения; последние, в свою очередь, видят в нападающих преступников в собственном смысле термина, а не только согласно официальному закону. Социальный бандит не может и помыслить о воровстве урожая у крестьян (хотя это не распространяется на землевладельцев) на своей территории, а возможно, и вообще на любой территории. У тех же, для кого это допустимо, отсутствует то особое отношение, которое и делает бандитизм «социальным». Разумеется, на практике эти различия зачастую оказываются менее четкими, чем в теории. Человек может быть

социальным бандитом в своих родных горах, но обычным грабителем — на равнине. Как бы то ни было, аналитический подход требует для нас провести это различение.

Социальный бандитизм такого рода — одно из самых универсальных социальных явлений, известных в истории, мало какое явление столь же удивительно однородно. Практически все его случаи относятся к двум или трем очевидно связанным между собой типам, в то время как все вариации достаточно поверхностны. Более того, эта однородность не является следствием культурной диффузии, а просто отражением сходных ситуаций в разных крестьянских обществах, будь то в Китае, Перу, Сицилии, Украине или Индонезии.

Проявления социального бандитизма можно найти повсюду: в обеих Америках, Европе, в исламском мире, Южной и Восточной Азии, даже в Австралии. С точки зрения общественного устройства он встречается во всех типах человеческого общества, находящихся между переходной фазой родоплеменного уклада и современным обществом промышленного капитализма, включая фазу разрушения родового общества и перехода к аграрному капитализму.

Родоплеменные общества знакомы с рейдерством, но в них нет внутреннего расслоения, которое создает бандита как фигуру социального протеста и бунта. Однако такие сообщества (особенно те, которым привычны внутриплеменные распри и набеги, такие, как охотники и скотоводы) могут порождать непропорционально большое количество социальных бандитов, когда они развивают свои системы классовых различий либо когда их поглощают более крупные экономики, построенные на классовом конфликте. Так случилось в Оттоманской империи XV–XVIII веков, где историки по сути отождествили бандитов с гуртовщиками, пастухами.

Яркие примеры из XIX века — область Барбаджа на Сардинии и венгерский Куншаг (область расселения куманов — половцев — одного из последних кочевых племен Центральной Азии, осевших в Европе).

При изучении таких регионов обычно сложно отметить переход практики набегов и вражды в социальный бандитизм, в форме ли противостояния богатым или иностранным завоевателям и по-

работителям, или другим внешним силам, разрушающим традиционный порядок вещей. В сознании самих бандитов это все может быть связано, как, впрочем, это и происходит на самом деле. Однако при определенном везении мы можем зафиксировать хронологически момент такого перехода с точностью до одного-двух поколений: например, в случае сардинских горцев — это полвека между 1880-ми и 1930-ми годами.

На другом полюсе исторического развития находятся современные аграрные системы, капиталистические и посткапиталистические, которые уже больше не основываются на традиционном крестьянском обществе и не порождают социальный бандитизм, если не принимать в расчет страны так называемого переселенческого капитализма — США, Австралию, Аргентину.

В стране, давшей миру Робин Гуда, международный образец социального бандитизма, после XVII века не встречается упоминаний о социальных бандитах, хотя общественное мнение продолжает находить более или менее подходящие фигуры на замену в идеализации других типов преступников, например, разбойников с большой дороги. В своем более широком значении «модернизация», то есть сочетание экономического развития и эффективных коммуникаций и государственного управления, лишает любой бандитизм (включая социальный) его питательной среды. Например, в царской России, где разбой носил эндемический или эпидемический характер на большей части страны вплоть до середины XVIII века, к концу его практически исчез из городских окрестностей, а к середине XIX века — в общем и целом отступил в беспокойные и незамиренные районы, в частности населенные национальными меньшинствами. Отмена крепостного права в 1861 году обозначила конец долгой череде правительственных указов, направленных против бандитизма: последний, судя по всему, был издан в 1864 году.

В остальном же социальный бандитизм повсеместно обнаруживается в тех обществах, которые основаны на сельском хозяйстве (включая скотоводческие экономики) и состоят преимущественно из крестьян и безземельных работников, управляемых, подавляемых и эксплуатируемых кем-либо еще — землевладельцами, городами, правительствами, законниками и даже банками. Он принимает одну из своих трех главных форм: *благородный*

разбойник, или Робин Гуд; простой боец сопротивления или участник герильи — то, что я буду называть *гайдуком*; и потенциальный носитель террора — *мститель*[I]. Каждую из этих форм мы рассмотрим в отдельных главах.

Насколько широко каждая из форм бандитизма распространена, определить нелегко. Хотя источники приводят много примеров, но с трудом можно найти оценки общего числа действующих в тот или иной период времени бандитов либо количественное сравнение разных периодов. Мы, конечно, должны различать обычный низовой бандитизм и большие и постоянно действующие вооруженные банды, которые могут по тем или иным причинам содержать сами себя в тех или иных исторических периодах и регионах, а также общины, которые все свое существование строят на регулярном сочетании ведения сельского хозяйства и разбоя.

Так, например, описывал жителей албанской области Мирдита (католиков) епископ, прибывший с визитом в 1703 году: «*di genio bellicose, dediti alle rapine, alli assassini*» («воинственно настроены, склонны к грабежам и убийствам»); или другой пример — «бандитские села» в западной части горного Хэнаня в Китае.

В периоды правительственных кризисов, как в постимперский период военных правителей, численность бандитов могла быть высокой. Если взять японскую оценку середины 1920-х годов за основу, можно назвать число порядка 0,5–0,8% от общего населения Маньчжурии (0,7–1% в Хэнане и Шаньдуне), это без учета 1,5 миллиона солдат во всем Китае, которые во многом набирались из бандитов (настоящих или потенциальных). Но это скорее исключение.

В 1962 году в Колумбии, после завершения наиболее кровавой фазы политического конфликта[II], в шести самых неспокой-

---

[I] Частичное исключение, вероятно, следует сделать для особых кастовых обществ индуистской Южной Азии, в которых развитие социального бандитизма ограничивается тенденцией грабителей (как и любых других частей общества) образовывать замкнутые касты и общины. Однако, как мы увидим позднее, между некоторыми видами *дакоитов* (как называют в Индии бандитов) и социальными бандитами есть определенное сходство.

[II] Ла Виоленсия (исп. *La Violencia*, «насилие») — вооруженный конфликт в Колумбии (1948–1958), наиболее активно разворачивался в сельской местности между партизанскими и парамилитарными отрядами, созданными

ных областях страны насчитывалась 161 банда и 2760 участников (по оценкам полиции). Хотя это число выше, чем в предыдущем издании книги, оно все равно не превышает одного на каждую тысячу населения упомянутых областей[20].

Македония в начале XX века поддерживала заметно большее количество банд (для своего населения примерно в миллион человек), но, поскольку их финансирование и организация происходили во многом из правительственных источников, эти банды представляли нечто совсем иное, чем естественный бандитизм, который мог бы в этой зоне существовать. Даже так вряд ли их общая численность когда-либо превышала одну-две тысячи человек[21].

Вполне ясно, что средняя численность бандитов была довольно скромной. На Корсике XIX века максимальное число находившихся «в бегах» (или оценочно — бандитов) составляло на 355 деревень — 600 человек. Более реалистичная оценка: 200–300 (еще в 1933 году на острове находилось сто человек вне закона)[22]. В 1847, достаточно спокойном, году, согласно данным властей, в Калабрии насчитывалось 600–700 активных разбойников в 50–60 небольших бандах, при этом данная область традиционно склонна к бандитизму[23]. Общее население Калабрии (в значительной степени сельское) в то время составляло приблизительно один миллион человек. Если предположить, что процент бандитов от сельского населения никак не превышал 0,1%, то это почти наверняка будет сильно завышенной оценкой.

Есть, конечно, и заметные региональные различия. Они частично связаны с географией, частично с технологиями и способами управления, частично с общественными и экономическими

Либеральной и Консервативной партиями Колумбии, а также Колумбийской коммунистической партией. Катализатором противостояния стало убийство популярного среди беднейших слоев населения либерального политика Хохе Гайтана. Ряд лидеров партизанских отрядов отказались сложить оружие после объявления амнистии в 1953 году, и даже после примирения и подписания либералами и консерваторами пакта о разделе административных должностей в государстве, и продолжали сражаться до середины 1960-х. Один из командиров в либеральном крестьянском ополчении, Педро Антонио Марин (Тирофихо) в 1954 году заявил о переходе в Компартию и стал основателем и бессменным руководителем (на протяжении более 40 лет) Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК). За годы Ла Виоленсии погибло более 200 000 человек, многие были убиты с особой жестокостью. — *Прим. ред.*

структурами. Общим местом является тот факт, что бандитизм процветает в отдаленных и труднодоступных районах, таких, как горы, бездорожные степи, болота, леса, дельты рек с их лабиринтом ручьев и протоков, а местом притяжения для него, наоборот, являются торговые пути и главные дороги, по которым передвигается медленный и неуклюжий доиндустриальный транспорт.

Зачастую значительное сокращение бандитизма достигается просто строительством хороших и быстрых современных дорог. Напротив, неэффективное и затрудненное управление способствуют его усилению. Империя Габсбургов XIX века справлялась с проблемой бандитизма успешнее, чем обветшавшая и, по сути, децентрализованная Турецкая империя, и это исторический факт.

Не является простым совпадением тот факт, что приграничные регионы или, точнее, регионы многограничья, подобные Центральной Германии или частям Индии, поделенным между Британией и многочисленными княжествами, постоянно испытывали на себе последствия действий бандитов. Когда местную власть составляют местные уроженцы, действующие в сложных местных условиях, это идеальные условия для разбоя: перемещение всего на несколько миль переводит разбойника из пределов досягаемости и даже информации одного властного представительства на территорию другой власти, которую ничуть не беспокоит происходящее «за границей». Историки составляют перечни таких областей, особенно ассоциирующихся с бандитизмом, например, для России[24].

Однако и эти очевидные факторы не определяют полностью те региональные различия в бандитизме, которые вынудили, например, ввести в уголовный кодекс императорского Китая деление на «разбойничьи области» (провинции Сычуань, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Шэньси, частично Цзянсу и Шаньдун) и все прочие[25].

В перуанских департаментах[1] Такна и Мокегуа, по всем статьям весьма подходящих для процветания разбойников и мятежников, тем не менее никакого бандитизма не было. Почему же? Потому что, как утверждают историки вопроса, «здесь нет лендлордов, владельцев техники, вербовщиков, бригадиров, нет полно-

[1] Ныне регионах. — *Прим. перев.*

го, абсолютного и непреложного владения водными ресурсами»[26]. Другими словами — крестьянское недовольство там было ниже. И напротив, такая область, как Бантам на севере Явы в XIX веке была постоянным центром бандитизма, но она же была и центром перманентного мятежа.

Лишь тщательное исследование региональной ситуации может объяснить, почему бандитизм получал повальное распространение в одних частях страны (или региона) и был, наоборот, крайне слаб в других. Аналогичным образом только детальное историческое исследование может учесть все диахронические вариации бандитизма. Но, несмотря на это, мы вполне уверенно можем делать некоторые обобщения.

Бандитизм имеет тенденцию распространяться эпидемически в периоды резкого обеднения и экономических кризисов. Так, поразительный взлет средиземноморского разбоя в конце XVI века, на который обратил внимание Фернан Бродель, отражал резкое снижение условий жизни крестьянства в тот период. Община ахерия в штате Уттар-Прадеш (Индия), которая всегда была племенем охотников, птицеловов и воров, «не прибегала к разбою на большой дороге до большого голода 1833 года»[27]. Можно взять более близкий нам пример: бандитизм сардинских горцев в 1960-е годы ежегодно достигал пика в тот момент, когда наступал срок внесения арендной платы. Эти наблюдения столь тривиальны, что их достаточно просто изложить на бумаге, чтобы они стали очевидными. С точки зрения историка, более продуктивно выделять те кризисы, которые обозначают серьезные исторические изменения, хотя сами крестьяне смогут воспринять это различие только спустя много времени, если вообще смогут.

Все аграрные общества прошлого были привычны к периодическим нехваткам — неурожаям или другим естественным кризисам, — а также к нерегулярным катастрофам, которые не поддавались прогнозированию жителями деревень, но рано или поздно происходившим: войны, завоевания, слом системы управления, лишь малой частью которой они сами являлись. Все подобные беды и катастрофы с большой вероятностью умножали бандитизм того или иного свойства.

Все рано или поздно заканчивалось, хотя политические кризисы и войны обычно надолго оставляли после себя банды

мародеров и прочего отребья, особенно если правительства были слабы и страдали от противоречий. Эффективное современное государство, послереволюционная Франция, смогло ликвидировать крупномасштабный бандитизм (не социальный), захлестнувший Рейнскую область в 1790-е годы, за несколько лет. С другой стороны, социальные потрясения Тридцатилетней войны оставили после себя в Германии большую сеть воровских банд, некоторые из которых существовали еще столетие спустя. Тем не менее, если речь идет об аграрном обществе, после таких традиционных отклонений от равновесия ситуация стремится к нормализации (включая нормальные показатели социального и прочего бандитизма).

Ситуация сильно меняется, когда события, вызвавшие эпидемию бандитизма, сравнимы (используя географическую метафору) не с землетрясением в Японии или наводнением в Нидерландах, а скорее с продвижением ледников (очень медленные изменения) или с эрозией почвы (необратимые изменения). В таком контексте эпидемии бандитизма представляют собой нечто большее, чем просто увеличение числа боеспособных мужчин, которые вместо того, чтобы голодать, забирают силой то, в чем нуждаются. Они могут отражать распад всего общества, возникновение новых классов и социальных структур, сопротивление целых общин или народов против разрушения их уклада. Либо, как это было в истории Китая, они могут обозначать истощение «небесного мандата», не крах общества по причине каких-то сторонних сил, а приближающийся конец относительно долгого исторического цикла, провозглашать закат одной династии и начало другой. В такие времена бандитизм может стать провозвестником или спутником значительных социальных изменений, таких, например, как крестьянские революции. Либо, напротив, он может измениться сам, адаптироваться к новой социальной и политической ситуации, хотя при этом почти наверняка перестанет быть социальным бандитизмом.

В типичном за последние два столетия случае — переходе от докапиталистического общества к капиталистическому — общественная трансформация может полностью разрушить тот тип аграрного общества, который порождал бандитов, тот тип крестьянства, который их подпитывал, и тем самым завершить историю того, чему посвящена моя книга. XIX и XX века были золотым

веком социального бандитизма по всему свету, так же как XVI, XVII и XVIII века засвидетельствовали его расцвет в Европе. Сегодня он в целом перестал существовать, за исключением нескольких уголков.

В Европе бандитизм сохраняется хоть в каком-то виде только в горах Сардинии, хотя в нескольких областях наступило некоторое оживление вследствие двух мировых войн и революции. Впрочем, в Южной Италии, классической стране бандитизма, это явление достигло своего расцвета всего чуть более ста лет назад, во время великого крестьянского восстания и партизанской разбойничьей войны (1861–1865). В другой классической стране бандитизма, Испании, он был известен в XIX веке каждому путешественнику. Риск встречи туристов с бандитами в эдвардианскую эпоху упоминается в пьесе Бернарда Шоу «Человек и сверхчеловек». Но и там бандитизм уже переживал свой закат. Франсиско Риос Гонсалес, по прозвищу Перналес[1], действовавший в этот период, стал последним легендарным разбойником Андалусии. В Греции и на Балканах память о разбойниках еще свежее.

В Северо-Восточной Бразилии фаза эпидемического развития началась после 1870 года, пик наступил в первой трети XX века, конец бандитизма датируется 1940 годом, и с тех пор он больше не возрождался. В некоторых областях, например в Африке к югу от Сахары, он может разрастись до таких больших масштабов чем где бы то ни было еще. А в Южной и Восточной Азии и одной-двух областях Южной Америки иногда можно наткнуться на классический социальный бандитизм. Современный мир почти уничтожил его, впрочем заменив собственными формами примитивного бунта и преступления.

Какую роль играют бандиты в общественных изменениях, и играют ли хоть какую-то? Как личности они не столько политические или социальные бунтовщики и тем более не революционеры, сколько крестьяне, которые отказываются подчиниться и тем самым выделяются среди своих односельчан, или еще проще: люди, которых жизнь выбила из привычного для их среды ритма, лишила традиционных занятий и потому вытеснила за пределы закона, в зону «преступности».

---

[1] *Francisco Ríos González*. «El Pernales». (1879–1907). — *Прим. ред.*

En masse они не более чем просто симптом кризисов и напряжения в обществе — будь то голод, чума, война или что-то еще, что разрушает это общество. Таким образом, бандитизм сам по себе не является программой действий для крестьянского общества, а лишь формой самопомощи для выхода из этого общества в определенных обстоятельствах.

У бандитов нет своих идей, отличных от идей крестьянства (или части крестьянства), частью которого они сами являются, если оставить за скобками их желание или возможность сопротивляться подчинению. Они активисты, а не идеологи и пророки, от которых можно было бы ожидать нового видения или проектов социальной и политической организации. Они оказываются лидерами в той степени, в которой в этой роли часто оказываются крутые и уверенные в себе мужчины, с яркой индивидуальностью и военным талантом; но и в этом случае они прорубают выход, а не находят его.

В Южной Италии 1860-х годов некоторые разбойничьи главари (такие, как Крокко и Нинко Нанко)[1] демонстрировали большие таланты в командовании, что восхищало офицеров противника, но, хотя «разбойные годы» являются одним из редких примеров масштабного крестьянского восстания под руководством социальных бандитов, ни на одном этапе ни один из командиров не призывал своих бойцов захватить землю, а временами они были даже неспособны понять те идеи, которые сегодня назвали бы «аграрной реформой».

В тех же случаях, когда у бандитов была какая-то «программа», она сводилась к защите или восстановлению традиционного

---

[1] Крокко (Кармине Донателли) — крестьянский работник, пастух, поступил в войско Бурбонов, убил сослуживца в потасовке, дезертировал и десять лет находился вне закона. Он присоединился к освободительному движению в 1860 году, рассчитывая на амнистию по своим прошлым деяниям, и затем стал превосходным партизанским командиром на стороне Бурбонов. Позднее он сбежал в Папские области, был выдан итальянскому правительству и приговорен к пожизненному заключению. Много лет спустя он написал в тюрьме интересную автобиографию.

Нинко Нанко (Джузеппе Никола Сумма) — безземельный работник из Авильяно, сбежал из тюрьмы в 1860 году, во время гарибальдийского освободительного движения. В качестве лейтенанта Крокко он также продемонстрировал блестящий талант к партизанским военным действиям. Был убит в 1864 году.

уклада, «как все должно быть» (т. е. как это было в реальном или мифическом прошлом, согласно людской вере). Они устраняли несправедливость, исправляли неправосудные решения и мстили за них, применяя более широкие принципы справедливых и честных отношений между людьми в целом, а особенно между богатыми и бедными, между сильными и слабыми. Эта скромная цель не мешает богатым эксплуатировать бедных (но лишь в тех пределах, которые традиционно принято считать «справедливым»), а сильным подавлять слабых (но в рамках равноправия и заботы о своем социальном и моральном долге). Они не выступали против феодального права как такового и даже не требовали запрета для феодалов пользоваться женами своих крепостных, при условии, что те не будут уклоняться от обязанности дать образование своим внебрачным детям[I]. В этом смысле социальные бандиты — реформисты, а не революционеры.

Но реформистский ли, революционный ли — сам по себе бандитизм не является социальным *движением*. Он может быть суррогатом движения, подобно тому, как это происходит, когда крестьяне тем более восхищаются своими защитниками робин гудами, чем менее способны сами к каким-то активным действиям. Или может замещать собой движение, как это происходит, когда бандитизм институционализируется в агрессивной и бескомпромиссной части крестьянства и по сути стимулирует развитие других средств борьбы. Происходит ли так в действительности, в точности не установлено, но есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что так может быть.

Так, в Перу потребность крестьян в реформах была значительно ниже (и все еще оставалась таковой в 1971 году) в департаментах Уануко и Апуримак, где аграрные проблемы были столь же острыми, как и везде, но существовали (и существуют) глубоко укорененные традиции скотокрадства и бандитизма. Но эта тема еще ждет своего серьезного анализа, подобно многим другим аспектам бандитизма.[II]

[I] Этот пример взят из конкретных бесед с перуанскими крестьянами.

[II] Я благодарен д-ру Марио Васкесу, Энрике Майеру и различным чиновникам из зоны Икс (Центральный Перу), занимающимся аграрной реформой, за значимую информацию.

Два обстоятельства, однако, могут превратить эти скромные (пусть даже и не вовсе чуждые насилию) социальные задачи бандитов — и крестьянства, к которому они относятся, — в подлинно революционные движения. Первое — это превращение их в символ, в знамя сопротивления всего традиционного уклада силам, разрывающим и уничтожающим его. Социальная революция не становится менее революцией от того, что она происходит во имя того, что внешний мир полагает «реакцией», и против того, что этот мир полагает «прогрессом».

Бандиты Неаполитанского королевства, как и его крестьяне, восставшие против якобинцев и иностранцев во имя Папы, короля и святой веры, были революционерами, а Папа и король ими не были (в 1860-е годы один нехарактерно тонко мыслящий бандитский командир сказал пленному юристу, который заявил, что он тоже на стороне Бурбонов: «Ты образованный человек и юрист, неужели ты впрямь думаешь, что мы ложимся костьми за Франциска II?»[1])[28]. Они поднимались не за *реальность* царства Бурбонов — многие в самом деле всего несколько месяцев назад участвовали в его свержении под предводительством Гарибальди, — а за идеал некоторого «доброго старого» общества, естественными символами которого были идеалы «доброй старой» церкви и «доброго старого» короля. Бандиты в политике склонны оказываться такими революционерами-традиционалистами.

Вторая причина обращения бандитов в революционеры присуща самому крестьянскому обществу. Даже те, кто принимают эксплуатацию, подавление и подневольность за норму человеческого существования, мечтают о мире, лишенном этих вещей: мире равенства, братства и свободы, о совершенно *новом* мире, где нет зла. Крайне редко это становится чем-то бо́льшим, нежели мечта. Редко это выходит за рамки эсхатологических ожиданий, хотя во многих обществах сохраняется это милленаристское упование: однажды появится справедливый Император, Царица Южных морей однажды сойдет на берег (как в яванской версии

[1] Предположительно Чиприано Ла Гала, неграмотный перекупщик из Нолы, который был приговорен за грабеж с применением насилия в 1855 году, сбежал из заключения в 1860-м, не был типичным представителем крестьянских бандитов.

этой скрытой надежды), и все изменится и станет совершенным. И все же есть моменты, когда апокалипсис кажется неминуемым; когда вся структура государства и существующего общественного устройства в самом деле представляется рассыпающейся вдребезги, а бледный огонек надежды превращается в свет возможной зари.

В такие времена бандитов смывает прочь вместе со всеми. Не плоть ли они от плоти народа? Не они ли на своем (пусть ограниченном) примере показали, что партизанская жизнь в лесах может принести свободу, равенство и братство тем, кто готов платить за это бездомной жизнью, подвергаться опасностям, рисковать почти неминуемой гибелью (современные социологи серьезно говорят о бандах бразильских *cangaçeiros* (бандитов) как об «определенного вида братстве или светской общине», а свидетели сообщают о небывалом уровне честности в отношениях между членами банд)[29]. И разве не признают они, сознательно или подсознательно, превосходство милленаристских или революционных движений над собственной деятельностью?

В самом деле, ничто не поражает так сильно, как это подчиненное сосуществование бандитизма с масштабной крестьянской революцией, предшественником которой тот зачастую служит. Область Андалусии, которая традиционно ассоциировалась с *bandoleros* («благородными» или не очень), спустя десять-двадцать лет после их заката стала прочно ассоциироваться с сельским анархизмом. Сертан[1] (порт. *sertão*) — области в Северо-Восточной Бразилии, — будучи традиционной средой обитания *cangaçeiros*, были домом также и для *santos* («святые»), сельских мессианских лидеров. И те и другие процветали, но святые были выше. Знаменитый бандит Лампион (Lampião) в одной из бесчисленных баллад, превозносящих его подвиги,

Поклялся отомстить всем
Говоря, что в этом мире уважаю
Падре Сисеру и больше никого[30].

---

[1] Внутренние районы Северо-Восточной Бразилии за пределами густонаселенных областей континента.

И как мы увидим, общественное мнение получило «официальные верительные грамоты» Лампиона именно от падре Сисеру, мессии из Жуазейру. Социальный бандитизм и милленаризм — наиболее примитивные формы революции и реформирования — исторически идут рука об руку.

А когда наступают великие апокалиптические моменты, разбойничьи банды, чья численность разрослась за время мытарств и ожиданий, могут, не осознавая того, превратиться во что-то иное. Они могут, как на Яве, слиться с огромными толпами сельчан, бросивших свои земли и дома, чтобы бродить в экзальтированных ожиданиях по окрестностям; либо могут, как в Южной Италии в 1861 году, дорасти до целых крестьянских армий. Могут и, как Крокко в 1860 году, превратиться из бандитов в солдат революции.

Когда бандитизм присоединяется таким образом к более широкому движению, он становится частью той силы, которая может изменить общество, и меняет его. Поскольку кругозор социальных бандитов достаточно узок и четко очерчен, как и у самого крестьянства, результаты их вмешательства в историю могут отличаться от ожидаемых ими самими. Они могут оказаться и противоположными ожиданиям. Но бандитизм тем не менее остается исторической силой. Да и в любом случае, сколь многие деятели великих мировых социальных революций были в состоянии предвидеть настоящие результаты своих дерзаний?

Глава 3

Кто становится бандитом?

В Болгарии свободны только
пастухи, скотоводы и гайдуки.
Панайот Хитов[31]

Бандитизм подразумевает свободу, но в крестьянском обществе эта свобода доступна лишь немногим. Большинство находится в двойной зависимости — от работы и от землевладельца, при этом одна усиливает другую. Потому что ничто не делает крестьян большей жертвой власти и принуждения, чем их неспособность к перемещению, даже их экономическая уязвимость (крестьяне нередко оказываются способны сами себя прокормить). Их корни в земле, в своем возделываемом участке поля, и там они должны стоять подобно деревьям или, скорее, подобно морским анемонам или другим сидячим формам морской флоры и фауны, которые оседают в каком-то одном месте после фазы юношеских метаний. Женившись и вступив в право владения, мужчина оказывается привязан. Поля необходимо засевать и убирать, даже крестьянские восстания останавливаются на время жатвы. Ограду нельзя надолго оставлять без починки. Жена и дети служат тем якорем, который держит главу семьи в определенном месте. Только катастрофа, приближение конца тысячелетия или тяжело давшееся решение о переезде могут прервать фиксированный цикл крестьянской жизни, но и эмигрант будет вскоре вынужден осесть на новом участке, если только он не перестанет быть крестьянином. Социально крестьянин находится в согбенном положении, потому что ему приходится, как правило, гнуть спину за работой на своем поле.

Это серьезно ограничивает привлечение новых сил в бандитские ряды, но вовсе не означает, что взрослый крестьянин не может примкнуть к бандитам, хотя это все-таки довольно сложно. Годовой цикл разбойников совпадает с сельскохозяйственным циклом: его пик приходится на весну и лето, а спад — на голые и снежные сезоны. Однако разбойные действия бандитских групп, которым набеги обеспечивают постоянную часть дохода, и вне

сезона, как у племени *чуаров*[1] из Миднапура (Бенгалия) в начале XIX века; или же эти функции исполняются специальными отрядами, в то время как достаточное число рабочей силы остается на сельскохозяйственных работах.

Таким образом, если мы хотим понять социальный состав бандитов, нам нужно в первую очередь обратить внимание на ресурсы мобильности крестьянского общества.

Первый и, вероятно, самый важный источник свежей силы для бандитов обнаруживается в тех сельских средах, где имеется относительно небольшой спрос на рабочую силу, либо они настолько бедны, что не могут занять все свое трудоспособное население; другими словами, это перенаселенные сельские края.

Скотоводческие экономики, гористые районы с бедной почвой (одно с другим часто сочетается) порождают постоянное перенаселение такого рода, которое в свою очередь в традиционных обществах развивает свои институционализирующиеся методы высвобождения излишков давления: сезонную эмиграцию (как в Альпах или в кабильских горах Алжира), воинский призыв (в Швейцарии, Албании, Корсике, Непале) или разбой и бандитизм. Тот же эффект может вызывать минифундизм (то есть преобладание хозяйств, слишком маленьких, чтобы прокормить семью). То же, и даже по более очевидным причинам, может вызывать и безземелье.

Сельский пролетариат, безработный большую часть года, мобилизуем, в то время как крестьяне — нет. Из 328 «разбойников» (или, скорее, сельских повстанцев и партизан), чьи дела рассматривались в 1863 году апелляционным судом в Катандзаро (Калабрия, Италия), 201 характеризовался как батрак или поденный работник, только 51 как крестьянин, 4 как земледельцы, 24 как ремесленники[32]. Очевидно, что в таких условиях жизни не только множество людей готово сорваться с места, но они *вынуждены* искать себе другие источники заработка. Вполне естественно в подобных случаях, что некоторые из них становятся бандитами. Типичными зонами для роста такого беззакония чаще всего становятся горные и в особенности пастушеские области.

---

1 Племя, занятое сельским хозяйством в сочетании с разбойными набегами, обитающее в покрытых джунглями районах округа Миднапур (Бенгалия).

Даже с учетом всего сказанного, не все в таких областях одинаково склонны перейти за границы закона. Однако всегда находятся группы населения, чьи социальные позиции обеспечивают им необходимую свободу действий. Самой важной из них является возрастная группа молодых мужчин в интервале между половозрелостью и женитьбой, то есть до приобретения полноценного груза семейных обязательств, который начинает пригибать спину к земле. Мне рассказывали, что в тех странах, где легко доступен односторонний развод, таким периодом относительной свободы становится промежуток между уходом от жены и новой женитьбой. Но, как и в аналогичной ситуации с вдовцами, это становится возможным только при отсутствии маленьких детей, за которыми нужно присматривать, либо при готовности родственников взять заботу о них на себя.

Даже в крестьянских общинах юность — это фаза независимости и потенциального бунта. Молодежь, часто объединяющаяся (формально или неформально) в возрастные группки, может перемещаться от работы к работе, драться и бродяжничать. *Szégeny légeny* («бедные парни») венгерских равнин были такими потенциальными разбойниками, которые, хотя и не прочь увести лошадь-другую, были достаточно безобидны поодиночке, однако, объединившись в банды по двадцать-тридцать человек со своим лагерем где-нибудь в заброшенном месте, легко переходили к бандитизму.

«Подавляющее большинство» бандитов-новобранцев в Китае были юношами, потому что «краткий период до того, как они примут на себя тяготы брака и семейной жизни, был для них временем наибольшей свободы, равной которой у них никогда не было и уже не будет». Поэтому тридцатилетие было тем порогом, после которого бандит был вынужден бросать свое ремесло и где-то оседать, а мужчины не из бандитов, которые не смогли жениться и перейти к оседлому образу жизни, почти не имели шансов выйти из этого маргинального положения[33]. Стоит также добавить, что их число еще более увеличивалось выборочным детоубийством в отношении новорожденных девочек, что могло приводить, в некоторых районах Китая, к двадцатипроцентному превышению мужской численности над женской.

В любом случае нет никаких сомнений, что типичным бандитом всегда был молодой мужчина и его современный аналог,

например, колумбийские партизаны 1990-х годов, почти все от 15 до 30 лет[34]. Две трети бандитов в Базиликате в 1860-е годы были младше 25 лет. Сорок пять из пятидесяти пяти бандитов в Ламбаеке (Перу) были холосты[35]. Диего Коррьентес, классическая бандитская легенда Андалусии, погиб в 24 года; его словацкий аналог, Яношик, — в 25; Лампион, великий *кангсейру* бразильского северо-востока, начал свою «карьеру» между 17 и 20 годами; Дон Хосе (из «Кармен») — в 18. Средний возраст бандитских главарей в Маньчжурии в 1920-е годы составлял 25–26 лет. Писатели тоже могут быть наблюдательны: «тощий Мемед», герой турецкого романа о бандитах, отправляется в Таврские горы, будучи подростком.

Вторым важнейшим источником свободных мужчин является та группа населения, которая по тем или иным причинам не интегрирована в сельское общество и потому также вытесняется за его пределы, туда где начинается маргинальность и кончается закон.

Банды разбойников, процветающие в малонаселенных и бездорожных районах старой России, состояли из таких маргиналов — часто мигрантов, стремящихся в восточные и южные пространства, куда еще не добрались землевладельцы, крепостное право и правительство, в поисках того, что позднее стало сознательной революционной программой «Земли и воли». Не все добирались до своей цели, но всем нужно было чем-то жить по дороге туда. Так что беглые крепостные, разоренные вольные, беглецы с государственных и частных фабрик, из тюрем, семинарий, армии и флота, люди с неопределенным местом в обществе (такие, как поповичи) создавали или присоединялись к готовым бандам, которые также могли сливаться с местными налетчиками, из бывших пограничных общин свободных крестьян, таких, как казаки и национальные или племенные меньшинства (о казаках см. Главу 8).

В среде таких маргиналов заметную роль играли солдаты, дезертиры и бывшие служивые люди. У царя были важные причины для пожизненной (или почти пожизненной) воинской службы, так что родственники, провожая их до конца деревни, по сути их сразу и отпевали. Люди, которые возвращаются издалека, не имея ни хозяина, ни земли, несут с собой угрозу для стабильности социальных иерархий. Бывшие солдаты и дезертиры — естественный строительный материал для бандитизма. Раз за разом бандитские

главари в Южной Италии после 1860-х годов характеризовались как «бывший солдат армии Бурбонов» или «безземельный батрак, ветеран». Правда, в некоторых местах такое превращение проходило нормально. Почему бы, вопрошал прогрессивный боливиец в 1929 году, мужчинам, возвращающимся с военной службы в свои поселения среди индейцев аймара, не выступать просветителями и агентами цивилизации, вместо того чтобы «превращаться в бездельников и дегенератов, а затем вставать во главе местных бандитов»?[36] Вопрос был правомерным, но совершенно риторическим. Ветераны *могут* быть лидерами, просветителями и деревенским активом, все социально революционные режимы используют свои армии, как кузницы таких кадров, но откуда этого можно было бы ждать в феодальной Боливии?

Лишь немногие, кроме вернувшихся ветеранов, находятся полностью (хотя и временно) вне деревенской экономики, оставаясь при этом частью крестьянского общества (в то время, как цыгане и прочие Fahrendes Volk[1], как правило, ею не являются). Однако сельская экономика обеспечивает и такие рабочие места, которые находятся вне обычной трудовой рутины и за пределами непосредственного общественного контроля, исходящего ли от правителей или от общественного мнения подданных. Это уже упоминавшиеся пастухи, которые в одиночку или в компании подобных себе — особое, тайное сообщество — проводят время на высокогорных пастбищах во время летнего выпаса или ведут полукочевой образ жизни на бескрайних равнинах. Это вооруженные люди, сторожа, чье дело не относится к обработке земли, гуртовщики, возчики, контрабандисты, барды и прочие. За ними не следят, они сами наблюдатели. Нередко, в самом деле, горы оказываются для них общим миром, куда нет входа землевладельцам и пахарям и где мужчины не распространяются о том, что они видели и делали. Здесь бандиты сталкиваются с пастухами, а пастухи решают, не стать ли им бандитами.

Все источники потенциальных рекрутов для бандитов, которые мы рассматривали до сих пор, были коллективными, то есть это социальные категории мужчин, каждый из которых может

[1] Fahrendes Volk (*нем.*) — бродячий люд, странствующие артисты. — *Прим. ред.*

стать бандитом с большей вероятностью, чем любой член какой-то другой категории. Они очевидным образом очень важны. Например, они позволяют нам делать краткие, приблизительные, но в основном верные обобщения, такие, как: «В типичном бандитском отряде в горном районе, вероятно, будут молодые пастухи, безземельные батраки и ветераны военной службы, но маловероятно встретить женатых мужчин с детьми или ремесленников». Такие формулировки не исчерпывают вопроса, но покрывают неожиданно большую часть проблематики. Например, южноитальянские главари в 1860-х годах, для которых у нас имеются характеристики их деятельности, состоят из двадцати восьми «пастухов», «перегонщиков коров», «ветеранов», «безземельных батраков» и «сторожевых» (или комбинаций этих ремесел) и только пять прочих[37]. Следует, однако, отметить, что бандитские главари, в отличие от рядовых бандитов, скорее происходили из этих «прочих», то есть из страты сельского общества, расположенной выше пролетариев и неимущих.

Но есть и другая категория потенциальных бандитов, в некотором отношении самая важная, членство в которой было (и есть) индивидуальным и добровольным, хотя она могла и пересекаться с другими. Ее составляют люди, не желающие принимать пассивную социальную роль смиренного крестьянина, упрямые и непокорные, люди мятежного склада. Это люди, которые по известному классическому крестьянскому присловью «заставляют себя уважать».

Их может быть не так много в обычном крестьянском обществе, но они всегда есть. Это те, кто, столкнувшись с несправедливостью или гонениями, не уступают смиренно силе или общественному положению, а выбирают путь сопротивления и нарушения закона. Следует помнить, что хотя сопротивление таким актам притеснения это типичное начало карьеры «благородного» разбойника, на каждого восставшего всегда найдутся десятки тех, кто приемлет эту несправедливость. Любой Панчо Вилья, который встает на защиту чести поруганной сестры, будет исключением в обществе, где феодалы и их свита делают с молодыми крестьянками то, что им заблагорассудится. Эти люди утверждают свое право на уважение со стороны любого постороннего, включая и крестьян, борясь за него с оружием в руках — и тем самым узур-

пируя социальную роль высших классов, которые, согласно классической средневековой системе рангов, обладали монополией на использование оружия. Они могут быть задирами, которые подчеркивают свою «опасность» развязностью, демонстрацией оружия, дубинок или палиц, хотя крестьяне не должны носить оружие, небрежной и щегольской одеждой и манерами, символизирующими «крутость». В старой китайской деревне молодой холостяк (обычно знатоки Китая обозначали его выражением «деревенский забияка») носит свою косичку свободно, свернутой вокруг головы и шеи; туфли болтаются на пятках; штаны сидят кое-как, чтобы была видна дорогая подкладка. Говорят, что он часто провоцирует судью «из чистого удальства».[38]

Костюм мексиканских погонщиков скота — *vaqueros*, — который стал классическим ковбойским костюмом из вестернов и более или менее похожие на него стили *gauchos* и *llaneros* южноамериканских равнин, *bétyars*[I] венгерских степей, *majos* и *flamencos*[II] в Испании, — это все примеры сходной символики непокорности в западном мире. Этот символизм, вероятно, достигает своего самого изысканного выражения в костюме балканского гайдука (или *клефта*), украшенного золотыми и стальными фестонами. Потому что, как во всех традициональных и медленно меняющихся обществах, даже свободная группа бедняков нонконформистов формализуется и распознается по внешним признакам. Внешний облик деревенского «хулигана» — это код, который считывается как: «Этот человек не укрощен».

Те, кто «заставляют себя уважать», не становятся автоматически бандитами, по крайней мере не становятся социальными бандитами. Они могут вырваться с боем из деревенского курятника, чтобы стать деревенской охраной, приближенными феодала или солдатами (что означает официальных бандитов разного рода). Они могут блюсти собственные интересы и стать сельской буржуазией, действующей принуждением, подобно сицилийским

I *Gauchos, llaneros* (*исп.*) — ковбои Аргентины и Колумбии; *bétyars* (*венг.*) — люди вне закона и вне субординации.

II *Majo* и *flamenco* — описание стиля одежды и поведения, резюмированное в испанском словаре восемнадцатого века, как «человек, который демонстрирует смелость и щегольство в словах и в деле».

мафиози. Могут они стать и теми преступниками, о которых люди слагают баллады: защитниками, героями, мстителями. У них индивидуальный бунт, не определенный социально и политически, который в обычных — то есть не революционных — условиях не становится предтечей массовых восстаний, а скорее является результатом и противовесом общей пассивности бедняков. Они являют собой исключение, которое лишь подтверждает правило.

Перечисленные категории более или менее исчерпывают собой те источники, которые могут служить питательной средой для крестьянского бандитизма. Однако нам следует кратко обозреть еще два пласта сельского насилия и разбоя, которые временами резонно, но в большинстве случаев ошибочно смешивают с крестьянским бандитизмом: «бароны-разбойники» и уголовники.

Это следует из того факта, что обедневшая сельская знать обеспечивает нескончаемый приток «крутых». Оружие — их привилегия, сражаться — их призвание, основа их системы ценностей. Заметная доля этого насилия институционализирована такими занятиями, как охота, защита личной и семейной «чести» на дуэлях, местью и подобными вещами или канализирована заботливым правительством в политически полезные или, во всяком случае, безопасные, стоки, такие как военная служба и колониальные приключения.

Мушкетеры Дюма, продукт Гаскони, этой хорошо известной колыбели безденежных дворян, не были ничем большим, нежели официально разрешенными забияками с родословной, аналогичными громилам крестьянского или пастушеского происхождения, которых нанимали для охраны итальянские или иберийские латифундисты. Такими было большинство испанских конкистадоров. Однако возникали и ситуации, когда такие обедневшие сквайры становились настоящими преступниками и грабителями (*см. Главу* 7).

Можно предположить, что дворянин вне закона с бóльшей вероятностью попадет в народные мифы и баллады, если (а) он окажется частью общего сопротивления архаического общества внешним силам или иностранному завоеванию; или (б) если имеющаяся традиция крестьянского восстания против господской несправедливости слишком слаба.

Такая вероятность меньше там, где классовая борьба более выражена, хотя, разумеется, в странах с высокой долей дворянства, таких, как Польша, Венгрия, Испания (где оно составляет, возможно, 10% от всего населения). У баллад и романсов о дворянах-разбойниках находилась широкая аудитория[I].

Различие между бандитами крестьянского происхождения и уголовным подпольем городских и бродяжьих элементов еще более резкое, последнее существует в каких-то пустотах сельского общества, но очевидно не принадлежит к нему. В традиционных обществах уголовные преступники, по определению, аутсайдеры, они образуют свое отдельное общество, если не в самом деле антиобщество, «искаженно» отражающее «правильное». Они, как правило, говорят на своем особом языке (арго, блатной жаргон, *caló, Rotwelsch*). Они связаны с другими отверженными ремеслами или сообществами, как, например, с цыганами, которые дали так много жаргону французского и испанского криминального мира, подобно тому, как евреи сделали еще больший вклад в немецкий словарь (большинство крестьян-бандитов говорит не на арго, а просто на одном из вариантов местного крестьянского диалекта).

Члены уголовных сообществ, как правило, нонконформисты, или скорее антиконформисты на практике и по идеологии; они скорее на стороне дьявола, чем Бога[II][39], а если религиозны — то скорее окажутся еретиками против ортодоксии. В XVII веке немецкие уголовники-христиане подали петицию о возможности посещать еврейские религиозные отправления в заключении,

[I] Классификация песен и баллад о бандитах осложнена двумя факторами. Первый, это стремление «официальной» культуры повысить бандитов социально, в качестве компенсации за их ассимиляцию, например, превратить Робин Гуда в пострадавшего графа Хантингдона. Второй: тенденция всех свободных людей в сельских обществах феодального типа сопоставлять собственный статус с единственной знакомой им моделью «свободы», т.е. со статусом в аристократической системе. Возможно, последняя тенденция и повлияла на поверье о том, что несомненные крестьяне, такие, как венгерские бандиты девятнадцатого века Шандор Рожа и Йошка Шобри, были дворянами старейшей фамилии; а возможно и первая.

[II] Невозможно было себе представить вора, который бы не заключил сделку с дьяволом, особенно в шестнадцатом веке, но и вплоть до недавних времен дьявол занимал первостепенное место в догматической системе воров.

а также есть достаточно серьезные свидетельства (отразившиеся в пьесе Шиллера «Разбойники») того, что немецкие банды в XVIII веке предоставляли укрытие для вольнодумцев, сектантов антиномийцев, остатков центральногерманского анабаптизма[40].

Крестьяне-бандиты ни в коем случае не бывают еретиками, они разделяют систему ценностей рядовых крестьян, включая их набожность и подозрительное отношение к другим (так, за исключением Балкан, большинство социальных бандитов Центральной и Восточной Европы были антисемитами).

Таким образом, всюду, где в сельской местности действуют банды уголовников, будь это центр Европы XVII–XVIII веков или Индия, их обычно можно отличить от социальных бандитов как по составу, так и по характеру их деятельности. С большой вероятностью они состоят из членов «криминальных племен и каст» либо индивидуумов, относящихся к тем или иным группам отверженных. Так, шайка Крефельда и Нойсса в 1790-х годах состояла в основном из точильщиков, а в Гессен-Вальдеке была банда, состоявшая главным образом из тряпичников. Примерно половина банды Салембье, которая в тот же период устрашала Па-де-Кале, составляли лоточники, торговцы подержанным товаром, ярмарочные продавцы и т. п. Знаменитая шайка Нижних Земель, как и большинство ее разнообразных подгрупп, состояла по большей части из евреев. И так далее.

Уголовное призвание было часто наследственным: у баварской грабительницы Шаттингер была за плечами семейная традиция длиной в двести лет, более двадцати ее родственников (включая отца и сестру) побывали в тюрьме или были казнены[41]. Нет ничего удивительного в том, что такие люди не искали симпатий крестьян, поскольку те, как и все «правильные», были их врагами, гонителями и жертвами. У криминальных банд отсутствовали местные корни, которые были у социальных бандитов, или они их скрывали, но в то же время у них не было тех территориальных ограничений, которые задавали безопасную зону для социальных бандитов.

Уголовники были частью большой, хотя и разрозненной, подпольной сети, которая могла простираться на полконтинента и заведомо присутствовала в городах, которые были *terra incognita* для крестьян-бандитов, они боялись и ненавидели города. Для бродяг,

кочевников, уголовников и подобного люда тот тип территории, где социальные бандиты проживали свой век, был только местом многочисленных ярмарок и рынков, местом для случайных набегов, в лучшем случае — подходящим местом для лагеря в случае масштабных операций (например, когда стратегически удобно расположиться около нескольких границ сразу).

Несмотря на все это, уголовников нельзя просто исключить из исследования социального бандитизма. Во-первых, потому, что там, где социальный бандитизм по той или иной причине не развился или же, наоборот, пропал, подходящие уголовники вполне могли идеализироваться, наделяться атрибутами Робин Гуда, особенно когда они концентрировались на купцах, богатых путешественниках и прочих, кто не пользовался большими симпатиями среди бедных. Так, во Франции, Англии и Германии XVIII века прославились уголовные персонажи наподобие Дика Турпина, Картуша и Шиндерханнеса, занявшие места настоящих робин гудов, к тому времени в этих странах давно исчезнувших[1].

Во-вторых, принудительно вытесненные крестьянским обществом маргиналы, такие, как ветераны, дезертиры, мародеры, которые изобиловали в периоды беспорядков, войн или их последствий, обеспечивали связь между социальным и антисоциальным бандитизмом. Такие люди легко могли бы оказаться в социальных бандах, но с той же легкостью присоединялись и к другим, привнося туда некоторые ценности и презумпции своей среды.

В-третьих, в старых «вечных» доиндустриальных империях давно развилось двойное подполье: не только мир отверженных, но и мир неофициальной взаимной защиты и оппозиции; характерные примеры: масштабные и долговечные тайные общества императорского Китая и Вьетнама, а возможно, и такие структуры, как сицилийская мафия. Такие неофициальные политические

---

[1] Дик Турпин, 1705–1739; Картуш, 1693–1721; Шиндерханнес («Ганс-живодер», Йоханнес Бюклер), 1783–1803. Еще один французский бандитский герой восемнадцатого века, Робер Мандрен, 1724–1755, был менее подходящей для идеализации фигурой. Он был профессиональным контрабандистом из пограничного района между Францией и Швейцарией, а торговлю, кроме правительств, никто никогда не воспринимал как преступление; он начал мстить за брата, и это выросло в масштабные действия против правительства.

системы и сети, которые по сей день очень плохо поняты и изучены, могли устанавливать контакты со всеми, находящимися снаружи и настроенными против официальных структур и властей, включая как социальных бандитов, так и аутсайдерские группы. Например, они могли предоставлять и тем и другим ресурсы и сотрудничество, которые в определенных условиях могли превратить бандитизм в ядро эффективного политического восстания.

В общем, хотя на практике мы не всегда можем однозначно отделить социальный бандитизм от других видов бандитизма, это не затрагивает наше базовое определение социального бандита как особого типа крестьянского протеста и бунта. Именно это и задает основную тему данной книги.

Глава 4

Благородный разбойник

Этой ночью неполная луна светила тускло, зато звезды, которыми было усеяно все небо, сверкали особенно ярко. Не прошел отряд и десяти ли, как впереди показалось множество подвод, на которых были флажки с надписью: Зерно честных и справедливых людей из лагеря Ляншаньбо.
Речные заводи[42]

Нечестивец — человек, который убивает христиан без серьезного к тому повода.
По определению знаменитого калабрийского бандита Музолино[43]

Благородный разбойник Робин Гуд — самый знаменитый и повсеместно известный тип бандита, самый частый герой баллад и песен в теории, хотя и не всегда на практике[1]. Нет ничего удивительного в таком соотношении между легендой и фактами, равно как и в расхождении между реальностью средневекового рыцарства и его благородными идеалами.

Робин Гуд — образец, которому должны были бы следовать все бандиты-крестьяне, но, как это обычно бывает, лишь у немногих хватало идеализма, альтруизма или социальной ответственности, чтобы жить согласно принятой роли, и, вероятно, еще меньшее число могли себе это позволить. Редкие фигуры, отвечавшие этим ожиданиям или казавшиеся таковыми, вознаграждались по-

[1] В рамках этой книги мы относимся к Робин Гуду как к абсолютно мифологической фигуре. Выясняется, что до XVI века он не всегда рассматривался как герой, хотя баллады о нём прослеживаются вплоть до XIV века. Вопрос о реальном существовании Робин Гуда, как и о том, какие английские банды вели подобный лесной образ жизни, следует оставить специалистам по истории Средних веков.

клонением, достойным героев, если не святых. Диего Коррьентес (1757–1781), благородный разбойник из Андалусии, в общественном сознании приближался к Христу: он был предан, его доставили в Севилью в воскресенье, судили в марте в пятницу, и он никого не убил[44]. Реальный Юрай Яношик (1688–1713), подобно большинству социальных бандитов, был провинциальным грабителем в богом забытом уголке Карпат, чье существование вряд ли привлекло бы внимание столичных властей. Но до сегодняшнего дня дошли буквально сотни песен о нем. С другой стороны, нужда в героях и защитниках столь высока, что в отсутствие настоящих их замещают самые неожиданные кандидаты. В реальной жизни большинство робин гудов были весьма далеки от благородства.

С тем же успехом мы можем начать с «образа» благородного разбойника, который определяет его социальную функцию и его отношения с обычными крестьянами. Его сущность — роль защитника, установителя справедливости и социального равенства. С обычными крестьянами он находится в отношениях полной солидарности и идентичности. «Образ» отражает и то и другое. В целом это можно объединить в девяти пунктах.

Во-первых, преступная карьера благородного разбойника начинается не с преступления, а с того, что последний сам становится жертвой несправедливости либо преследования со стороны властей (за преступление в их представлении, не являющееся таковым с точки зрения народного обычая).

Во-вторых, он «восстанавливает справедливость».

В-третьих, он «забирает у богатых, чтобы раздать бедным».

В-четвертых, он «никогда не убивает просто так, только обороняясь или мстя».

В-пятых, если он остается в живых, он возвращается к своим землякам в качестве чтимого гражданина и члена общины. В действительности он никогда, по сути, ее и не покидает.

В-шестых, земляки им восхищаются, помогают и поддерживают.

В-седьмых, его гибель наступает исключительно по причине предательства, поскольку ни один достойный член общины никогда бы не стал способствовать властям в действиях против бандита.

В-восьмых, он — по крайней мере в теории — невидим и неуязвим.

В-девятых, он не враг королю или императору, источнику справедливости, а противостоит лишь местной знати, духовенству или другим угнетателям.

Факты во многом подтверждают эту картину, во всяком случае, в части реальности, а не только исполнения желаний. Социальные бандиты действительно в большинстве зарегистрированных случаев начинают свою карьеру с какой-то некриминальной стычки, дела чести или чего-то иного, что воспринимается ими и земляками как несправедливость (это может быть простым последствием того, что бедняк где-то перешел дорогу богатому или влиятельному лицу). Анджело Дука, или «Анджолилло» (1760–1784), неаполитанский бандит XVIII века, стал бандитом из-за спора со сторожем герцога Мартина о заблудившемся скоте. Панчо Вилья в Мексике отстаивал честь сестры перед феодалом. Лабареда, как практически все бразильские *кангасейруш*, защищал семейную честь. Джулиано, молодой контрабандист — в горах столь же почетное занятие, как и прочие, — из-за сопротивления сборщику налогов, которому не хватило взятки. И так далее. Для робинов гудов было очень важно начинать таким образом, потому что иначе, являясь, по сути, настоящими преступниками, они не могли бы пользоваться неоспоримой поддержкой.

Бандит, который начал свой путь, став жертвой несправедливости, преисполнен рвения устранить по крайней мере одну несправедливость: в отношении самого себя. Вполне естественно, что настоящие бандиты часто проявляют тот «дикий дух справедливости», который свидетели отмечали у Хосе Мария Темпранильо (прототип Дона Хосе из «Кармен»), хозяйничавшего на холмах Андалусии. Согласно легендам, восстановление справедливости часто оборачивалось буквальной передачей имущества. Джесси Джеймс (1847–1882), как рассказывали, одолжил бедной вдове $800, чтобы она погасила свой долг перед банком, а затем ограбил банкира и забрал деньги назад; совершенно невероятная история, учитывая все, что мы знаем о братьях Джеймс[1]. В крайних случаях, как в «Разбойниках» Шиллера, благородный разбойник предлагал свою жизнь взамен на справедливость в отношении бедняка.

---

[1] Точно такая же история ходила о Мате́ Косидо, главном социальном бандите 1930-х в аргентинской провинции Чако.

Так в реальной жизни повел себя Зелимхан, дагестанский[I] робин гуд начала XX века, который, будучи заперт в горном ущелье, послал с пастухом сообщение своему сопернику:

> «Пойди скажи начальнику округа, что я сам приду к нему с повинной, когда он покажет мне бумажную телеграмму от Царя, где будет сказано, что отменяются все штрафы, наложенные на невиновных; чтобы он сейчас по телеграфу просил прощения всем, кто сослан и арестован из-за меня. Если к полуночи не передадут мне ответа [князя Караулова], что они помилованы, то я уйду из пещеры, хотя бы все русские войска ее окружили»[II].

На практике же восстановление справедливости без церемоний скорее принимало формы возмездия и расплаты. Процитируем опять Зелимхана, который писал офицеру-мусульманину, некоему Донугаеву:

> «Учтите, я убиваю представителей власти потому, что они беззаконно сослали мой несчастный народ в Сибирь. Когда полковник Попов был начальником Грозненского округа, случился бунт и представители власти и войска решили отстоять свою силу и расстреляли нескольких случайных бедняг. Когда я услыхал об этом, я собрал своих людей, мы остановили и ограбили поезд около станции Кади-Юрт. И убили русских в отмщение»[45].

Каковы бы ни были реальные действия абрека, нет сомнений, что он здесь видится носителем справедливости, даже восстановителем нравственности, и зачастую так сам себя и воспринимает.

Отбирает ли бандит у богатых, чтобы раздать бедным, это предмет для дискуссий, хотя очевидно, что он не может себе позволить обирать местных бедняков, если нуждается в их поддержке в своем противостоянии властям. Также не подвергается сомнению тот факт, что у «благородных разбойников» сложилась

I На самом деле чеченский Зелимхан Гушмазукаев (1872–1913) родился в селе Харачой Грозненского округа Терской области, представитель тейпа Харачой. — *Прим. ред.*

II Цит. по: *Гатуев Д.* Зелимхан. Ростов н/Д, 1929. — *Прим. перев.*

репутация перераспределителей богатства. «Бандиты Ламбаека всегда отличались учтивостью, отвагой, утонченностью, дистанцированностью от разбойников, — пишет полковник Гражданской гвардии *(Guardia Civi)* Виктор Сапата. — Им не присуща ни жестокость, ни кровожадность, и в большинстве случаев они, как правило, распределяют свою добычу между голодными и нищими, показывая тем самым то, что им не чуждо чувство милосердия, их сердца не ожесточились»[46]. В сознании местного населения отличие между бандитами с репутацией и теми, у кого ее нет, проходит очень четко, включая и полицию (о чем свидетельствует вышеприведенная цитата). Нет сомнений и в том, что некоторые бандиты действительно иногда что-то раздают бедным, в форме ли личного благодеяния или стихийной щедрости. Панчо Вилья распределил доходы от своего первого крупного рейда таким образом: 5 000 песо своей матери, 4 000 семьям родственников, и «купил портняжью мастерскую для человека по имени Антонио Ретана, с очень слабым зрением и большой нуждающейся семьей. Я нанял человека заниматься ею и дал ему еще столько же денег. Так оно и пошло. По истечении восьми-десяти месяцев все, что у меня оставалось от 50 000 песо, ушло на помощь нуждающимся[47].

С другой стороны, Луис Пардо, робин гуд среди перуанских бандитов (1874–1909), предпочитал бросать пригоршни серебра в толпу на народных праздниках, как, например, в своем родном городе Чикиан, или «простыни, мыло, галеты, консервы, свечи и пр.», купленные в местных лавках, как в городе Якйя[48].

Несомненно, многие бандиты могли заработать свою репутацию щедрых дарителей просто оплачивая еду, кров и все остальное для местных жителей. Такова лишенная всякого романтизма точка зрения Эстебана Монтейо, кубинского старика, не склонного к излишней сентиментализации бандитов своей юности[49]. Но даже он признает то, что «когда удавалось украсть действительно большую сумму денег, они шли и раздавали их».

Естественно, в доиндустриальных обществах щедрость и милосердие являются нравственной обязанностью для «хорошего» человека, обладающего властью и богатством. Иногда, как среди индийских дакоитов, они даже институционализировались формально. Бадхаки — самая известная из воровских общин Северной

Индии — откладывали 4500 рупий из добычи 40000 рупий на жертвы богам и благотворительность. Каста мина славились своей щедростью.[50] Напротив, не встречается никаких баллад о скуповатых бандитах Пьюры, что исследователь перуанского бандитизма объясняет тем, что они были слишком бедны, чтобы делиться своей добычей с другими бедняками.

Иными словами, забрать у богатых и раздать бедным — это встречающийся и устоявшийся обычай или по крайней мере идеальная моральная обязанность, будь то в зеленой чаще Шервудского леса или на американском юго-западе Билли Кида, который, как гласит история, «был добр к мексиканцам. Он был как Робин Гуд, грабил белых и делился добычей с мексиканцами, так что для них он был хорошим парнем»[51].

Умеренность в применении насилия является столь же важной частью робингудовского образа. «Грабит богачей, помогает беднякам и никого не убивает», гласит присказка о Диего Коррьентесе из Андалусии. Чао Гай, один из бандитских главарей в классическом китайском романе «Речные заводи», спрашивает после очередного рейда: «Имеются ли убитые?», а услышав, что нет, «Чао Гай остался очень доволен и сказал: "Отныне мы больше не должны убивать людей"»[52]. Мельников, бывший казак, разбойничавший под Оренбургом, «убивал, но редко». Каталонские разбойники XVI и XVII веков, по крайней мере в балладах, должны были убивать, только защищая собственную честь; даже Джесси Джеймс и Билли Кид, согласно легенде, убивали только обороняясь или по другим столь же справедливым поводам. Это воздержание от беспричинного насилия тем более удивительно, что, как правило, бандиты находятся в такой среде, где все мужчины вооружены, убийство это норма, и в любом случае самым надежным является принцип «сначала стрелять, а потом задавать вопросы». Как бы то ни было, сложно предположить, будто кто-то из их современников, знавший их достаточно хорошо, мог подумать, что братья Джеймс или Билли Кид остановятся перед тем, чтобы застрелить того, кто встал у них на пути.

Таким образом, весьма сомнительно, находился ли хоть один реальный бандит в том положении, чтобы жить согласно нравственным требованиям, сопутствующим его статусу. Вместе с тем в той же степени ясно, что такие ожидания существовали; хотя мораль-

ный императив крестьянского общества резкий и определенный, люди, привыкшие к бедности и беззащитности, обычно проводят столь же резкое различие между теми заповедями, которые в самом деле обязательны практически во всех обстоятельствах — например, не болтать с полицейскими, — и теми, которыми от крайности и нужды можно и пренебречь[I]. И все же сама близость убийства и насилия делает людей крайне чувствительными к нравственным различиям, которые теряются в более мирных обществах.

Есть справедливое или узаконенное убийство, а есть несправедливое, беспричинное и ненужное; есть достойные действия — и есть позорные. Это разграничение применяется к суждениям обеих сторон как потенциальных жертв вооруженного насилия, миролюбивых покорных крестьян, так и самих воинов, чей кодекс вполне может быть близок к рыцарскому: не одобрять убийства беззащитных и даже «нечестные» нападения на признанных открытых противников, таких, как *местная* полиция, с которой бандиты могут быть в отношениях взаимного уважения (к людям извне могут применяться несколько другие правила)[II]. Как бы ни определять «справедливое убийство», «благородный разбойник» должен хотя бы пытаться оставаться в этих рамках, и, вероятно, настоящий социальный бандит — тоже. У нас будет в дальнейшем повод рассмотреть типаж бандита, к которому указанные ограничения неприменимы.

Поскольку социальный бандит не является преступником, для него не составляет труда вернуться в общину в качестве ее

I Хуан Мартинес Альер высказал это соображение и дополнительно усилил его, обосновав серией интервью с сельскими работниками Андалусии в 1964–1965 годах (*J. Martinez-Alier*. La Estabilidad del latifundismo. Paris, 1968. Chs. 1–6).

II В романе Яшара Кемаля «Тощий Мемед» приводятся хорошие примеры таких отношений. Герой романа предупреждает местного сержанта, который большую часть книги преследует бандитов, чтобы тот спрятался, когда сам застает его врасплох. И наоборот, когда сержант загоняет Мемеда в горную пещеру, вместе с женой, новорожденным ребенком и еще одной женщиной, Мемед предлагает сдаться, чтобы спасти остальных. Сержант соглашается, но одна из женщин высмеивает его: «Ты думаешь, что пленил его в честной схватке, но ты победил только потому, что он не может позволить ребенку погибнуть». И сержант не может допустить пленения знаменитого преступника, в такой победе не будет славы: он позволяет ему уйти.

уважаемого члена, когда он перестанет быть вне закона[I]. Все документальные источники единодушно подтверждают это. На самом деле, бандиты могли и не покидать общины, в большинстве случаев, по всей видимости, они действовали на территории деревни или расселения родни, поскольку та их поддерживала в порядке выполнения семейного долга, а также просто здравого смысла: ведь если их не подкармливать, они будут вынуждены стать обычными грабителями.

Боснийский студент (Босния входила в Габсбургскую империю) и корсиканский чиновник (Французская республика) высказывались единогласно: «Лучше кормить, чем толкать их на воровство»[53]. В отдаленных и недоступных районах, где представители власти появляются лишь редкими наездами, бандиты могут действительно проживать в деревне, пока не дойдет слух, что приближается полиция; так происходит в диких областях Сицилии и Калабрии. В по-настоящему глухих уголках, где от закона и правительства присутствует лишь слабая тень, бандитов могут не только привечать и защищать, они могут даже становиться лидирующими членами общины, как это часто происходит на Балканах.

Для примера рассмотрим случай Косты Христова из Рули, деревни в македонской глубинке конца XIX века. Он был самым грозным из окрестных главарей, но одновременно и признанным уважаемым жителем своей деревни, старостой, лавочником, держателем постоялого двора и мастером на все руки. В интересах деревни он давал отпор местным землевладельцам (в основном албанцам) и оказывал неповиновение турецким чиновникам, являвшихся реквизировать еду для солдат и жандармов. Истовый христианин, Коста ездил поклоняться к алтарю византийского монастыря Святой Троицы после каждого набега, осуждал беспричинное убийство христиан, хотя и не распространял это, как можно предположить, на албанцев любых верований[II]. Без сомнения,

---

I Луис Боррего, соратник знаменитого «Эль Темпранильо», смог даже впоследствии стать мэром городка Бенамехи; по общему признанию, этот город исторически не имел предубеждения против бандитов (*J. Caro Baroja*. Ensayo sobre la leteratura de Cordel. Madrid, 1969. P. 375).

II Довольно любопытно, что он стал героем и среди албанцев, которые сложили о нём песню. Всю эту информацию я получил из «The Greek Struggle in Macedonia» (Salonika, 1966) Дугласа Дейкина).

Коста не был простым грабителем, и несмотря на свою крайнюю гибкость в сравнении с современными идеологическими стандартами — сперва он сражался на стороне турок, затем за Внутреннюю македонскую революционную организацию, еще позднее на стороне греков, — он всегда оставался последовательным защитником прав «своего» народа от несправедливости и насилия. Более того, по-видимому, у него было четкое разграничение между допустимыми и недопустимыми нападениями, что могло отражать как чувство справедливости, так и чутье к местной политике. Во всяком случае, он изгнал из своей банды двоих за убийство некоего Абдина Бея, хотя и сам прикончил нескольких местных тиранов. Единственная причина, по которой такого человека нельзя считать социальным бандитом, заключается в том, что в политической обстановке турецкой Македонии он вообще вряд ли был преступником, по крайней мере бóльшую часть времени. Там, где ослабевали оковы правительства и феодалов, робин гуд становился среди населения признанным лидером.

Вполне естественно, что от народного защитника по местным критериям требуется быть не только честным и уважаемым, но и вызывать восхищение. Как мы уже убедились, образ Робин Гуда строится на морально положительных действиях, таких, как обирание богатых и умеренное человекоубийство, но еще в большей степени он состоит из стандартных качеств морально чистого гражданина.

Крестьянские общества очень четко отличают социальных бандитов, заслуживающих такой оценки (или считающихся таковыми), от тех, кто ее не заслужил, хотя мог заслужить временами и славу, и боязнь, и восхищение. В разных языках и впрямь есть даже отдельные слова для таких разных типов бандитов. Существует масса баллад, в которых знаменитые бандиты исповедуются в своих грехах на смертном одре или расплачиваются за свои ужасные деяния, как это случилось с гайдуком воеводой Индже, которого земля извергла четырежды до того, как он смог упокоиться в могиле с дохлым псом, положенным рядом с ним[54]. Благородному разбойнику такая судьба не грозит, поскольку он не совершает грехов. Напротив, люди молятся за его благополучие, как та женщина из Сан-Стефано в Аспромонте (Калабрия) молилась за великого Музолино[55].

Музолино ни в чем не повинен.
Они несправедливо осудили его;
О Мадонна, о святой Иосиф,
Не оставляйте его своей защитой...
О Иисус, о моя Богоматерь,
Храните его от всякого вреда,
Ныне и вовеки веков, да будет так.

Потому что благородный разбойник праведен. Возьмем случай, когда действительность несколько расходится с образом: считалось, что Джесси Джеймс никогда не грабил проповедников, вдов, сирот и бывших конфедератов. Более того, он считался истовым баптистом, преподающим в церковной школе пение. Уж куда выше могло подняться его реноме в глазах миссурийских фермеров.

После смерти добрый бандит мог подняться на окончательную моральную высоту — заняв место посредника между людьми и божественными силами. В Аргентине имеется большое число местных культов, сложившихся вокруг могил гаучо, в основном бывших бойцов политических гражданских войн XIX века, ставших бандитами; их чудотворные могилы зачастую украшены цветами соответствующей сражающейся стороны.

Таким людям, естественно, помогают все от мала до велика, а поскольку никто не встает на сторону закона против них, в столь хорошо им знакомом краю их никак не могут настичь неповоротливые солдаты и жандармы, если только их никто не выдаст. Как гласит испанская баллада:

Две тысячи серебряных эскудо
Дают за голову его.
Многие хотели этот приз,
Но не смогли,
Только у друга вышло[56].

На практике, как и в теории, бандиты часто становились жертвой измены, хотя полиция могла присваивать себе лавры, как в случае с Джулиано (об этом даже есть корсиканская поговорка «Убитый посмертно, как бандит полицией»). Баллады и

сказы полны этими проклятыми изменниками со времен самого Робин Гуда и до XX века: Роберт Форд, выдавший Джесси Джеймса, Пэт Гарретт — иуда Билли Кида, Джим Мерфи, сдавший Сэма Басса:

О, вот достанется поджаренному Джиму,
Как вострубит архангел Гавриил.

Много свидетельств и в задокументированных историях о смерти бандитов: Олекса Довбуш, карпатский бандит XVIII века, погиб не от предательства своей любовницы Ержики, как говорится в песнях, а от руки крестьянина Степана Дзвинчука, которому он пытался помочь, будучи раненным в спину[1]. Преданы были и Сальваторе Джулиано, и Анджолилло и Диего Коррьентес. Да и как еще могли погибнуть такие люди?

Разве не были они неуязвимыми и невидимыми? Про «народных бандитов» всегда так считалось, вероятно в отличие от обычных уголовников, и это поверие отражает их идентификацию с крестьянством. Они всегда перемещаются по сельской местности надежно замаскированные либо в одежде обычного селянина, неузнаваемые силами правопорядка до тех пор, пока сами себя не пожелают раскрыть. Поскольку никто не склонен их выдавать, и их не отличить от обычных людей, они *все равно что* невидимы. Байки лишь придают символическую выразительность этому явлению.

Неуязвимость бандитов кажется несколько более сложным феноменом. В какой-то степени она отражает тот уровень

---

[1] Так в оригинале. Существует целый ряд легенд, посвященных Олексе Довбушу, часто в них жена Дзвинчука указывается как любовница Довбуша, хотя его собственная жена находилась в отряде. Легенды наделяют знаменитого бандита магическими способностями: он родился с волосами из золота, давшими неуязвимость; в детстве, выпасая овец, подстрелил черта, наделившего его неуязвимостью от пуль и большой силой; погибнуть Довбуш мог только от серебряной пули, над которой двенадцать священников проведут двенадцать обрядов, и т.д. По легендам, любовница Довбуша либо подсказала мужу, как убить главаря, либо вырвала ему волшебные волосы в удачный момент. Дзвинчук вступил в сговор против Довбуша, поскольку ему была обещана награда и благосклонность местных властей и землевладельцев.— *Прим. ред.*

защищенности, которым бандиты пользуются на своей земле, среди своих соплеменников. В какой-то степени это выражение чаяний (народный защитник непобедим) того же рода, что порождают вечные мифы о добром короле (и добром бандите), который на деле не умер, а однажды вернется и восстановит справедливость. Отказ поверить в смерть бандита — определенный критерий его «благородства». Так, сержант Романо не был убит, и до сих пор тайно в одиночестве бродит по деревням; Перналес (один из андалузских бандитов, о которых рассказывают такие истории) «на самом деле» сбежал в Мексику; а Джесси Джеймс — в Калифорнию. Все дело в том, что поражение и смерть бандита — это поражение его народа и, что еще хуже, конец надежды. Люди могут жить без справедливости, и в общем им это и приходится делать, но они не могут жить без надежды.

Однако неуязвимость бандитов не только лишь символична. Она практически повсеместно и постоянно обуславливается магией, которая отражает благосклонный интерес божественных сил к их земным делам. Разбойники Южной Италии носят амулеты, благословленные Папой или королем, и считают себя под защитой Девы Марии; бандиты южного Перу обращаются к Деве Луренской; северо-восточные бразильцы — к местным святым.

В некоторых обществах с основательно институционализированным бандитизмом, как, например, в Южной и Юго-Восточной Азии, магическая составляющая развита еще сильнее, а ее значение, видимо, еще прозрачнее. Так, традиционная яванская банда «рампок» это, по сути, «групповое формирование магическо-мистической природы», а ее членов объединяет, помимо обычных связей, *илмо* (ilmoe) — волшебное заклинание, которое может иметь форму слова, присказки, амулета или даже просто личной веры. Оно в свою очередь приобретается духовными упражнениями, медитацией и подобными вещами, может быть подарено, или куплено, или получено при рождении, отмечая предназначение человека. Именно оно дает разбойникам невидимость и неуязвимость, парализует или усыпляет их жертв, и позволяет с помощью ворожбы определить место, день и время предстоящей операции, но оно же запрещает им менять план после того, как он божественным образом установился. Интересным элементом этой индонезийской бандитской магии является

то, что в определенных обстоятельствах она может распространяться шире обычного. В моменты большого милленаристского возбуждения, когда массы начинают волноваться в смутных ожиданиях, они тоже начинают верить в собственную волшебную неуязвимость.

Таким образом, мы видим, что магия может выражать духовную легитимность бандитских действий, функционирование лидерства внутри банды, движущую силу целей. Но видимо, ее можно рассматривать и как своего рода двойную страховку: она дополняет человеческие способности[1], но также и объясняет человеческие неудачи. Потому что в случае неправильного прочтения знамений или невыполнения каких-то других магических предписаний, поражение человека не означает поражения тех идеалов, которые он воплощает. И, увы, бедные и слабые знают, что в действительности их защитники уязвимы. Они всегда могут подняться вновь, но и они будут побеждены и убиты.

И наконец, поскольку благородный разбойник делает правое дело, он не может оказаться в реальном конфликте с источником справедливости, будь то божественного происхождения или человеческого. Существуют разнообразные варианты истории конфликта и примирения между разбойником и королем. Один только цикл о Робине Гуде содержит несколько версий. Король, по совету злочинных советников, подобных шерифу Ноттингемскому, преследует благородного преступника. Они сражаются, но король не может его победить. Они встречаются, и правитель, который естественно признает добродетель разбойника, дозволяет ему продол-

[1] Индонезийские бандиты обладают сильной магией только в том случае, если они доказывают свою способность к лидерству успехами в деле; ахерийские дакоиты Уттар-Прадеша следят за знамениями перед своими набегами, но особо смелые джемедары (вожаки) могут обойтись без этого. (D. H. Meljer «Over het bendewezen op Java», in Indonesie, III, 1949–1950. P. 183; W. Crooke, loc. cit. P. 47. См. также: Nertan Marcedo, *Capitão Virgulino Ferreira da Silva: Lampião*, 2[nd] edn. (Rio de Janeiro, 1968). P. 96.) Одна песня о Лампионе излагает все предельно ясно, как водится. Учитель Макумба, *фейтисейро* (знахарь и колдун), заговаривает великого бандита с помощью африканской магии, которая, как все знают, самая сильная, против пуль и ножей; но колдун также советует ему прибегать в случае необходимости к «Святым Ногам, Святой Бдительности, Святой Винтовке, Святой Подозрительности, Святой Осмотрительности» и прочим.

жать благородное дело или даже принимает его к себе на службу[I]. Символический смысл этих баек понятен. Менее очевидно то, что, даже не будучи отражением реальности, эти истории могут все равно иметь в основе тот опыт, который делает их вполне правдоподобными для людей из той же среды, что и разбойники. Когда государство далекое, неэффективное и слабое, у него действительно возникает потребность договориться с местными центрами власти, которые оно не может победить. Если разбойники достаточно успешны, с ними следует провести примирение, как и с любым другим центром вооруженной силы.

Каждый, кто жил во времена, когда бандитизм выходил за рамки обычного существования, знает, что местным чиновникам приходится устанавливать рабочие отношения с бандитскими главарями, подобно тому, как любой житель Нью-Йорка знает о существовании таких отношений между полицией и бандами (см. ниже). Нет ничего удивительного или беспрецедентного в том, что известным бандитам корона даровала прощение и награждала официальными должностями, как, например, случилось с Эль Темпранильо (Дон Хосе) в Андалусии. Как и нет ничего невероятного в том, что робины гуды, чья идеология в точности соответствует идеологии окружающего крестьянства, полагают себя «верными и добродетельными». Единственная сложность здесь заключается в том, что чем ближе бандит приближается к народному идеалу «благородного разбойника», то есть к социально ответственной защите прав бедных, тем менее вероятно, что власти примут его в свои распростертые объятия. Намного вероятнее, что они предпочтут увидеть в нем социального революционера и начнут преследовать.

Как правило, это занимает у властей не более двух-трех лет, средняя продолжительность карьеры робин гуда, если только он не орудует в сильно отдаленных районах и (или) не пользуется серьезной политической протекцией[II]. Потому что стоит властям

[I] Историки даже пытались установить реальное существование Робин Гуда путем поисков в королевских зарплатных ведомостях сведений о выплатах короной денег некоему Р. Гуду.

[II] Яношик продержался два года, Диего Коррьентес — три, Музолино — два, большинство итальянских бандитов 1860-х годов — не более двух лет, но Джулиано (1922–1950) удалось продержаться семь лет, пока он не потерял расположение мафии.

стянуть достаточное количество сил (участие которых не столько в том, чтобы напугать разбойника, сколько в том, чтобы сделать жизнь поддерживающих его крестьян невыносимой) и объявить достаточно высокую награду, и дни преследуемого разбойника сочтены. Только современные, хорошо организованные партизаны могут противостоять в таких условиях, но робины гуды весьма далеки от современной герильи: отчасти потому, что они являются вожаками небольших банд, беспомощных за пределами родной территории, а отчасти потому, что организационно и идеологически они слишком архаичны.

В самом деле, они не являются не только социальными, но и вообще никакими революционерами, хотя Робин Гуд сочувствовал революционным мечтам «своего» народа и по возможности участвовал в мятежах (мы еще рассмотрим этот аспект бандитизма в последующих главах). Однако его цели были сравнительно скромными. Он не протестует против того факта, что крестьяне бедны и притесняемы. Он стремится установить (или восстановить) справедливость, или, так сказать, «былую» добросовестность в обществе подавления. Он исправляет неправедное, но не стремится построить общество свободы и равенства. Истории о нем документируют скромные достижения: спасение вдовьей фермы, убийство местного тирана, освобождение брошенного в тюрьму, отмщение за несправедливо убитого. В крайнем случае — и это большая редкость — он может, подобно Вардарелли из Апулии, приказать управляющим фермы раздать хлеб работникам, разрешить им собрать себе часть урожая или раздать бесплатно соль, то есть обойти налоги (это важная функция, которая объясняет, каким образом профессиональные контрабандисты, наподобие Мандрена, героя французского бандитского мифа XVIII века, могли запросто приобретать ореол Робин Гуда).

Обычный робин гуд не может ничего больше, хотя, как мы увидим, бывают общества, в которых бандитизм существует не просто в форме случайного героя в окружении пары десятков соратников, а в форме постоянной институции. В таких странах революционный потенциал грабителей значительно выше (см. главу 6). Классический «благородный разбойник» представляет крайне примитивную форму социального протеста, вероятно наиболее примитивную из возможных. Он — индивидуум, который

отказывается гнуть спину, вот и все. Большинство людей такого склада рано или поздно (в нереволюционных обстоятельствах) окажутся перед выбором легкой дороги: превратиться в обычного грабителя, охотящегося в равной степени на бедных и богатых (за исключением, возможно, своей родной деревни), наемника феодалов, члена банды боевиков, находящейся в каких-то договоренностях с официальными властными структурами. Именно поэтому те немногие, которые не пошли этим путем, либо считаются незапятнанными, получают большую ношу восторженности, восхищения и страсти, направленных на них. Они не могут отменить притеснения, но доказывают, что справедливость бывает, что бедняки не обязаны смиряться, терпеть и не роптать[1].

Именно поэтому Робин Гуд не может умереть, поэтому он появился, несмотря на то что не существовал в реальности. Бедняки нуждаются в нем, потому что он являет справедливость, без которой, по словам Блаженного Августина, государства не что иное, как большие разбойничьи шайки. Именно потому, вероятно, они нуждаются в нем более всего тогда, когда у них уже не остается надежды на свержение гнета, а лишь на его частичное облегчение; когда они вынуждены смиряться с законом, обрекающим разбойника, по-прежнему воплощающего божественную справедливость и высшую форму общества, пока не имеющего сил возникнуть.

Писанье я святое воплотил,
Хотя дурную жизнь влачил.
Когда раздетых я видал,
Я их кормил и согревал;
Порою в шкуры одевал,
Порой в худой кафтан,
Раздетых я закутывал, голодных я кормил,
Богатых я до нитки обдирал
да прочь пешком их отсылал[57].

[1] Существенно, что вожаки легендарных банд часто предстают слабыми личностями, с какими-то изъянами, и редко считаются самыми сильными членами банды. «Господь хотел показать своим примером, что все мы, все трусливые, смиренные и бедные, можем делать великие вещи, если Господь пожелает этого». (Ivan Olbracht. Der Räuber Nikola Schuhaj. London, 1908. II. P. 235.).

Глава 5

Мстители

Сам Бог почти стал сожалеть
О том, что создал человечий род,
Узрел, что все несправедливо,
Все горе, все тщета забот,
И человек, пусть полон веры,
Сочтет жестоким выше меры
Величество, что выше всех себя несет.
Бразильский бандитский романс[58]

Ах, господа, если бы я умел читать и писать,
я бы уничтожил человеческую расу.
Микеле Карузо, пастух и бандит,
схваченный в Беневенто, 1863

Умеренность в убийствах (и вообще насилии) сопутствует образу социального бандита. Нам не следует ожидать от них, как от социальной группы, жизни, приближенной к нравственным стандартам, ими же принятым и ожидаемым от них со стороны их аудитории, в большей степени, чем от обычных граждан. Тем не менее на первый взгляд кажутся странными бандиты, которым не только свойственна жестокость в той степени, которая не объясняется простой деградацией нравов, но и вообще террор составляет часть их публичного образа. Они оказываются героями, но не вопреки страху и ужасу, которые вселяют их действия, а в каком-то смысле благодаря им. Они не устраняют несправедливость, они мстят, являют силу, их привлекательность не в установлении справедливости — ведь месть и воздаяние неотделимы от справедливости в тех обществах, где принят принцип «око за око», — а в демонстрации того, что даже бедные и слабые могут наводить страх.

Сложно сказать, следует ли рассматривать этих общественных монстров как специальный подвид социальных бандитов. Мораль того мира, к которому они принадлежат (и который находит отражение в песнях, стихах и брошюрах о них), содержит

ценности «благородных разбойников» наряду с их собственными ценностями. Как сказал о Лампионе народный поэт:

Он для забавы убивал
Лишь из жестокосердия,
Еду голодным раздавал
Из чистого милосердия.

Среди *cangaçeiros* северо-востока Бразилии встречаются такие, как великий Антониу Сильвино (1875–1944, годы деятельности в роли бандитского вожака 1896–1914), которых в основном вспоминают за их добрые дела, и другие, как Рио Прето, известные в основном своей жестокостью. Однако, говоря в целом, образ *cangaçeiro* составлен из двух этих частей. Проиллюстрируем это рассказом одного из бардов-самоучек о прославленном *cangaçeiro* Виргулино Феррейра да Сильва (1898 (?) — 1938), повсеместно известном, как Капитан или Лампион.

Согласно легенде (а нас больше интересует образ, чем действительность в данном случае), он родился в семье уважаемых фермеров-скотоводов на склоне гор в сухой части в глубине материка, в штате Пернамбуко «в прошлые времена, когда внутренние районы процветали», рос умным мальчиком — а значит, по легенде, не слишком крепким. Слабый должен иметь возможность самоидентификации с великим бандитом. Как писал поэт Забеле:

Там, где жил Лампион,
Смелели даже червяки,
Мартышка била ягуара,
Баран отстаивал свой луг.

Его дядя, Мануэль Лопес, говорил, что племянник должен стать врачом, что вызывало улыбки.

Никто не видывал врачей
В этом бескрайнем сертане;
Здесь встречают только пастухов,
Шайки бандитов
Или певцов.

В любом случае юный Виргулино хотел быть не врачом, а пастухом, хотя он за три месяца в школе выучился читать и писать, освоил счет и прекрасно слагал стихи. Семья Феррейра, когда юноше было семнадцать, покинула ферму в связи с ложным обвинением в воровстве из-за конфликта с семейством Ногейра. Так началась эта вражда, которая и сделала его бандитом. «Виргулино, — сказали ему, — доверься Божьему суду», но он отвечал: «Священная книга велит чтить отца и мать, и если я не защищу наше доброе имя, я не буду мужчиной». Так что он

Купил ружье с кинжалом
В городе Сан-Франсиско

и сколотил банду со своими братьями и еще двадцатью семью другими парнями (известными поэту и его землякам по имени, как это традиционно часто бывало с теми, кто подавался в бандиты), чтобы напасть на Ногейра в Серра-Вермелья. Шаг от кровной вражды к преступной жизни был вполне логичен, а учитывая превосходящую силу Ногейра — также и необходим. Лампион становится бродячим бандитом, еще более известным, чем Антониу Сильвино, чье пленение в 1914 году оставило пустым место в пантеоне этих захолустных краев.

Никого он не щадил,
Ни солдат, ни людей,
Его подругой был кинжал,
Винтовка — его талантом...
Богатых нищими отпускал
В ногах лежали смелые,
Кто мог, тот из страны бежал.

Но в течение всех этих лет (по сути 1920–1938 гг.), пока он держал в страхе весь северо-восток, он не переставал оплакивать свою судьбу, говорит поэт, которая сделала его грабителем вместо честного труженика и предназначила ему известную смерть, если только ему не повезет сложить голову в честном бою.

Он был и остается народным героем, но неоднозначным. Можно объяснить естественной осторожностью то, что поэт

делает реверанс принятой морали и упоминает «радость севера» при известии о смерти великого бандита (далеко не все баллады допускают эту точку зрения). Реакция крестьянина в городке Москито, вероятно, была более типичной. Когда солдаты шествовали по городу с головами преступников в банках с керосином, чтобы убедить всех в смерти Лампиона, он сказал: «Они убили Капитана, потому что сильная молитва бесполезна в воде»[59].

Последнее убежище бандита находилось в высохшем русле ручья, и как еще можно было объяснить его поражение, кроме как неудачей оберегающей магии? И все же, хотя он был героем, он не был *праведным* героем.

Он в самом деле совершил паломничество к знаменитому мессии из Жуазейру, отцу Сисеру, прося его благословления в начале бандитского пути, и святой отец, после тщетной попытки отвратить Лампиона от этого шага, выдал ему документ, назначив его капитаном, а его двух братьев — лейтенантами[1]. Однако баллада, из которой я позаимствовал большую часть истории Лампиона, не упоминает ни случаев установления справедливости (кроме как внутри самой банды), ни раздачи бедным награбленного у богатых, ни праведного суда. Она упоминает сражения, ранения, набеги на города (или то, что сходило за города в бразильской глуши), похищения, захват богачей в заложники, разнообразные приключения с солдатами, женщинами, голодом и жаждой, но ничего, что напоминало бы о робингудстве. Напротив, в этой истории упоминается много «ужасов»: как Лампион убил пленника, несмотря на выкуп, заплаченный его женой; как он убивал батраков; как пытал старуху, проклявшую его (не зная, кто он), заставляя танцевать в обнимку с кактусом, пока она не упала замертво; как он подверг мучительной смерти одного из своих людей, который его обидел, заставив того съесть литр соли, и тому подобные эпизоды. Для этого бандита гораздо важнее было быть безжалостным и устрашающим, чем быть другом беднякам.

Довольно любопытно, что, хотя в реальной жизни Лампион был, без сомнения, взбалмошным и порой жестоким человеком, он считал себя стоящим на страже по меньшей мере одного важного аспекта: половой нравственности.

---

[1] О реальных событиях в основе этой истории см. ниже.

Он кастрировал соблазнителей, запрещал насиловать женщин (хотя вряд ли в этом часто возникала нужда, учитывая их привлекательный образ), члены банды были шокированы приказом обрить налысо женщину и отпустить ее голой, хоть это и было наказанием за предательство. Один из членов банды, Анжело Роке по кличке Лабареда, покинувший ряды бандитов и ставший судебным привратников в Баие (!), видимо имел задатки робин гуда. Но эти качества не играли главенствующей роли в сложившемся мифе.

Внушение страха действительно составляет часть образа у многих бандитов: «Равнины Вика дрожат, когда иду...» — говорит герой одной из многочисленных баллад, славящих каталонских *bandoleros* XVI–XVII веков, которая «отнюдь не изобилует сценами щедрости» (по словам их блестящего летописца Фустера), хотя популярные герои среди них во многих отношениях «благородные». Они становятся бандитами в результате некоторых неуголовных действий, грабят богатых, а не бедных, должны постоянно оберегать свою честь, например, убивать лишь в ответ на «оскорбление чести».

Страх, как мы увидим позднее, составляет значительную часть образа гайдуков, которые тоже не очень много раздают бедным. И здесь также он сочетается с некоторыми характеристиками «благородного разбойника». Страх и жестокость сочетаются с «благородством» и в образе целиком выдуманного головореза, Хоакина Мурьеты, защищавшего мексиканцев от янки на заре Калифорнии, — литературная выдумка, но достаточно правдоподобная, чтобы войти в калифорнийский фольклор и даже в историографию. Во всех перечисленных случаях бандит — символ силы и мести.

С другой стороны, примеры настоящей отъявленной жестокости обычно не относятся к типичным бандитам. Вероятно, ошибочно вешать на бандитов эпидемию кровопролития, разразившуюся в перуанском департаменте Уануко с 1917 до конца 1920-х годов: хотя грабежи также имели место, основные мотивы описывались «скорее как ненависть и кровная вражда». По свидетельствам очевидцев, это в самом деле была ситуация кровной вражды, вышедшей из-под контроля и вызвавшей «смертельную лихорадку среди мужчин». Эта лихорадка заставила их «хладнокровно жечь, насиловать, убивать, грабить и разрушать» повсюду, кроме родной деревни или общины.

Еще более очевидно отвратительное явление: колумбийская *violencia* после 1948 года, которая выходит далеко за рамки обычного социального бандитизма. Нигде это патологическое насилие ради насилия не проявилось так ужасающе, как в этой крестьянской революции, сорвавшейся в анархию. Хотя наиболее жуткие практики, такие, как разрубание пленных на мелкие кусочки «на глазах и для увеселения бойцов, доведенных до безумия этим варварством» (позднее это стали называть *picar a tamal,I*), предположительно возникли раньше, во время партизанских кампаний в этой кровожадной стране[60]. Важным элементом этих эпидемий жестокости и смертоубийства является их безнравственность даже по стандартам тех, кто сам в них участвует. Если вырезание целого автобуса безобидных крестьян еще может быть как-то понято в контексте дикарской гражданской войны, то такие (достоверно засвидетельствованные) инциденты, как вырывание плода из чрева беременной женщины и помещение туда мужских гениталий, могут быть только сознательным «грехом». И несмотря на это, некоторые мужчины, учинявшие эти зверства, были и остаются «героями» для местного населения.

Таким образом, чрезмерное насилие и жестокость оказываются феноменами, которые лишь пересекаются с бандитизмом в некоторых областях. Тем не менее представляется достаточно важным предусмотреть им некоторое объяснение, как *социальным явлениям* (в данном случае нерелевантно, является ли данный конкретный бандит психопатом; в действительности маловероятно, чтобы многие бандиты-крестьяне оказались с психологическими отклонениями).

Можно допустить две возможные причины, хотя обе не являются достаточными для объяснения всей сверхжестокости. Первая состоит в том, что, по словам турецкого писателя Яшара Кемаля, «разбойники живут любовью и страхом. Когда они внушают только любовь — это слабость. Когда они внушают только страх — их ненавидят, у них нет сторонников»[61]. Другими словами, даже лучший из бандитов должен демонстрировать свою способность быть «ужасным».

I Picar a tamal *(исп.)* — нарубить для пирожков. — *Прим. пер.*

Вторая причина в том, что жестокость неотделима от возмездия, а возмездие является абсолютно легитимным действием даже для самого благородного из бандитов. Невозможно заставить угнетателя отплатить за унижение жертвы той же монетой: угнетатель действует в структуре подразумеваемого богатства, власти и социального превосходства, которые недоступны жертве, если только не в ситуации социальной революции, которая свергает правящий класс и поднимает угнетенных. Жертва может рассчитывать только на собственные ресурсы, и среди них насилие и жестокость обладают максимальным эффектом воздействия. Так, в хорошо известной болгарской балладе о жестоких бандитах «Стоян и Неделя» Стоян со своими бандитами устраивает набег на деревню, где некогда Неделя держала его в наемных слугах и унижала. Он похищает Неделю и заставляет прислуживать бандитам, но этого унижения оказывается недостаточно: из мести он отсекает ей голову.

Очевидно, однако, что за этими вспышками неоправданной жестокости стоит не только это. Даже два предложенных объяснения могут быть приняты лишь с большими оговорками, потому что нужно быть сумасшедшим, чтобы безоглядно продираться сквозь джунгли социальной психологии.

Некоторые наиболее известные примеры сверхжестокости связаны с особенно угнетенными и униженными социальными группами (например, люди с другим цветом кожи в обществах белой расы) либо с еще более унизительными случаями угнетения меньшинства большинством. Возможно, не является совпадением то, что Хоакин Мурьета — создатель благородной, но также и известной своей жестокостью банды, мститель и защитник калифорнийских мексиканцев от завоевателей-гринго, сам был индейцем чероки, то есть принадлежал к еще более безнадежно подавляемому меньшинству. Лопес Альбухар[1], описавший кровавый шторм, захлестнувший крестьян-индейцев Уануко (Перу),

[1] Лопес Альбухар (1872–1966) — перуанский писатель, в духе натурализма описывавший жизнь индейцев и крестьян. За пропаганду демократических и анархистских взглядов отбывал наказание в тюрьме. Его творчество и взгляды оказали влияние на сближение молодой левой интеллигенции, крестьянского и индейского движений, вылившееся в масштабную герилью в Перу. — *Прим. ред.*

видел здесь несомненную связь. Эти «бандиты» грабили, жгли и убивали в конечном итоге «из мести за ненасытное хищничество людей, относящихся к чужой расе», то есть белых. Отдельные случаи варварских крестьянских бунтов среди индейских рабов против своих белых хозяев в Боливии, до революции 1952 года, демонстрируют сходные (временные) смещения от обычной вялой пассивности крестьян к жестокой ярости.

Необузданное возмездие без разбора, но, может быть, это еще и более общая «революция разрушения», которая оставит весь мир в руинах, раз уж никакой «хороший» мир невозможен. И особенно это вероятно среди слабых, вечных жертв, оставшихся без надежды на победу даже в своих мечтах. Стаггер Ли, легендарный герой негритянских баллад, разрушает целый город землетрясением, подобно Самсону. Брехтовская пиратка Дженни[1], распоследняя посудомойка в заштатном постоялом дворе, которую обижает всякий, мечтает о пиратах, которые войдут на восьмимачтовом фрегате в город, захватят его и спросят ее, кого здесь пожалеть. Никого не жалеть, все умрут, а пиратка Дженни будет ухмыляться, глядя на катящиеся отрубленные головы. В романах об угнетаемых рабочих итальянского юга герои легенд, такие, как калабрийский бандит Нино Мартино, мечтают о всеобщем разрушении. В таких обстоятельствах демонстрация силы, любой силы, уже будет сама по себе победой. Убийства и пытки — самое примитивное и личное проявление силы, и чем слабее сам себя внутри ощущает бунтарь, тем больше предположительно у него соблазн показать свою силу таким образом.

Но даже в моменты триумфов победа приносит свои соблазны к разрушению, потому что у примитивных крестьян-мятежников нет позитивной программы, а есть только негативная — по избавлению от всей той сверхструктуры, которая мешает людям хорошо жить и честно взаимодействовать, как в старые добрые времена. Убить, вырезать, выжечь все то, что не нужно и не полезно человеку с плугом или с пастушьим посохом, — значит устранить заразу, оставить только хорошее, чистое и естественное. Так партизаны-разбойники итальянского юга уничтожали не только

[1] Имеется в виду персонаж «Трехгрошовой оперы» Б. Брехта. — *Прим. ред.*

врагов и кабальные бумаги, но и заодно без необходимости — тех, кто побогаче. Их социальной справедливостью было разрушение.

Есть, однако, и другая ситуация, в которой насилие выходит за рамки обычно принимаемого даже в привычных к насилию обществах. Это случается в периоды быстрых социальных изменений, когда эти изменения рушат традиционные механизмы социального контроля, сдерживающие деструктивную анархию. Феномен вражды, «вышедшей из берегов», знаком тем, кто изучает социумы с обычаями кровной мести. Обычно в подобных сообществах заложен внутренний социальный контроль. Своего рода тормоз. Когда счет между двумя враждующими семьями сравнивается посредством очередного убийства или какой-то иной компенсации, достигается мирное соглашение, гарантируемое третьими сторонами, скрепляемое межклановым браком или еще каким-то принятым образом, чтобы убийства не продолжались безостановочно. Однако, если по какой-то причине (наиболее очевидная из них — вмешательство новаторского государства, в каком-то ключе невосприимчивого к местным обычаям либо оказывающего поддержку политически более влиятельному семейству) тормоз перестает работать, вражда превращается в бесконечную цепь поочередных убийств, которая заканчивается либо истреблением одной из семей, либо спустя годы распри приводит опять к мирному соглашению, которое следовало бы заключить сразу. Как мы уже могли видеть на примере Лампиона, такие сбои в работе традиционных механизмов улаживания кровной вражды могут среди прочего умножать число преступников и бандитов (и в действительности именно кровная вражда почти неизменно является точкой отсчета для бразильских *cangaçeiros*).

Имеются прекрасные примеры более общих сбоев в таких традиционных устройствах социального контроля. В своей замечательной автобиографии «*Бесудна земља*» Милован Джилас[1]

---

[1] Милован Джилас (1911–1955) — югославский политический деятель, родом из Черногории. Вступил в Коммунистическую партию Югославии в1932 году, один из организаторов партизанского движения в Югославии в годы Второй мировой войны, до 1950-х годов близкий соратник Тито. С середины 1950-х годов резко критиковал недемократические методы управления в социалистических странах и бюрократическое перерождение. В вышедшей за рубежом в 1957 году книге «Новый класс: Анализ

описывает разрушение той системы ценностей, которая направляла поведение людей в его родной Черногории перед Первой мировой войной. Он упоминает о странном эпизоде. Православные черногорцы имели обыкновение, помимо своих внутренних распрей, обмениваться набегами с соседями — албанцами-католиками и боснийцами-мусульманами. В начале 1920-х отряд черногорцев выдвинулся в рейд по боснийским селам, как делалось испокон веков. И к своему ужасу они обнаружили, что делают вещи, которые в набегах никогда не делались, которые считались дурными: пытки, изнасилования, детоубийства. *И они ничего не могли с собой поделать.* Правила людской жизни были ясны и понятны; права и обязанности, цели, пределы, сроки и предмет их действий — все было давно определено обычаем и прецедентом. Обязательность этих правил обуславливалась еще и тем, что они были частью системы, элементы которой не входили в слишком очевидное противоречие с реальностью.

И вот часть этой системы сломалась: они перестали считать себя героями, после того, как не отдали жизнь борьбе с австрийскими захватчиками (согласно гипотезе Джиласа). Поэтому перестала работать и другая часть системы: идя на военное дело, они больше не могли себя вести «героически». И общество смогло восстановить свой «нравственный баланс» только тогда, когда героическая система ценностей вновь возникла на новой почве — парадоксальным образом на базе массового вступления черногорцев в компартию. Когда в 1941 году прозвучал призыв подняться на борьбу против немцев, тысячи мужчин с винтовками отправились в горы сражаться, убивать и погибать, на этот раз «славно»[1].

Как мы видели, бандитизм растет и обретает масштабы эпидемии в периоды социальных напряжений и потрясений. Эти же времена наиболее благоприятны для вспышек насилия и жестокости. Они не присущи сущностному образу бандитизма, кроме как

коммунистической системы» развивал тезис о возникновении в СССР, Югославии и других социалистических странах нового правящего класса привилегированной партийной бюрократической верхушки. Неоднократно подвергался заключению. — *Прим. ред.*

[1] Черногорцы, составлявшие 1,4% населения Югославии, обеспечили 17% офицеров партизанской армии.

в той мере, в которой бандит во все времена является орудием возмездия бедных. Но в такие времена они, без сомнения, учащаются, становятся более систематичными. Нигде это не проявляется столь ярко, как в ситуациях крестьянских восстаний и бунтов, которые не достигают уровня социальной революции, а их участники вынуждены возвращаться к жизни преступников и грабителей: голодные, озлобленные, обиженные даже на тех бедняков, которые оставили их сражаться в одиночку. Либо, еще более отчетливо, это проявляется в следующем поколении «детей насилия», которые прошли школу родных пепелищ, тел убитых отцов и изнасилованных матерей и сестер, чтобы начать жизнь преступников.

> Что тебя больше всего впечатлило?
> Зрелище горящих домов.
> Что тебя больше всего уязвило?
> Мать и меньшие братья, плачущие от голода в горах.
> Тебя ранили?
> Пять раз, стреляли из винтовки.
> Чего бы ты хотел больше всего?
> Пусть оставят меня в покое, я пойду работать. Я хочу научиться читать.
> Но им нужно лишь убить меня. Меня не оставят живым[62].

Двадцатидвухлетнего вожака колумбийской банды Теофило Рохаса («Чиспас») обвиняли почти в 400 преступлениях: тридцать семь убитых в Ромералесе, восемнадцать в Альтамире, восемнадцать в Чили, тридцать в Сан-Хуан-де-ла-Чина, столько же в Эль-Саладо, по двадцать пять в Точе и Гуадале, четырнадцать в Лос-Наранхос и т. д.

Монсеньор Херман Гусман, который знаком с *violencia* в своей родной Колумбии лучше многих, писал об этих заблудших кровожадных детях анархии. Для них:

> Во-первых, человек и земля, так прочно связанные в крестьянской жизни, оказываются оторваны друг от друга. Они не возделывают почву, не заботятся о деревьях... Эти мужчины, или скорее юноши, лишены надежды. Неопределенность окружает их жизни, которые находят выражение в приключениях,

воплощение в смертельных предприятиях, у которых нет никакого сверхсмысла.

Во-вторых, они утратили чувство дома, как якоря, как места, которое можно любить, откуда черпать спокойствие, чувство уверенности и постоянства. Они стали вечными странствующими авантюристами и бродягами. С преступными делами является нестабильность и ослабление связей. Для них остановка, эмоциональная привязанность к какому-то месту были бы равносильны сдаче, это стало бы их концом.

В-третьих, их неприкаянные жизни заводят этих юных врагов общества во временные, ненадежные и сомнительные обстоятельства, весьма далекие от того, что они оставили дома. Их кочевая жизнь подразумевает беспорядочный поиск поводов для эмоционального удовлетворения, для которого больше нет никакой серьезной основы. Здесь лежит разгадка их сексуальной озабоченности, патологической регулярности их аномальных преступлений. Для них любовь означает в большинстве случаев насилие или случайное сожительство... Если они считают, что девушка хочет их покинуть по какой-либо причине, они ее убивают.

В-четвертых, они теряют чувство *пути* как элемента, связывающего воедино крестьянскую жизнь. Горцы заботятся о тропинках, по которым они возят и носят свои бесчисленные грузы, пока те в каком-то смысле не становятся их сокровенной собственностью. Это своего рода любовь, которая заставляет людей вновь и вновь проходить по ним вперед и назад. Но сегодняшний антисоциальный бандит оставляет знакомые тропы, потому что его преследуют солдаты или правила партизанской войны гонят его искать места для неожиданных засад или секретных ходов для внезапных атак[63].

Только прочная идеология и дисциплина могут удержать людей от вырождения в волков в таких обстоятельствах, но это никоим образом и не является характерным для стихийных мятежников.

Все же, хотя мы не можем не учитывать патологические расстройства, присущие бандитам, насилие и жестокость, которые наиболее типичны и встречаются постоянно, неотделимы от мести. Мстят за личные унижения, но мстят и тем, кто угнетал дру-

гих. В мае 1744 года бандит Олекса Довбуш напал на имение пана Константина Злотницкого. Он опустил руки в огонь, чтобы опалить их, взял в горсти пылающие уголья, и отказался от какого-либо выкупа. «Я не за выкупом пришел, а по твою душу, за то, что ты столько мучил людей» — так докладывали о нем львовские монахи-цистерцианцы. Он убил также жену Злотницкого и его малолетнего сына. Монашеская хроника, посвященная этому событию, заканчивается тем наблюдением, что Злотницкий был жестоким барином, который сгубил многих. Там, где люди уходят в бандиты, жестокость порождает жестокость, а кровь взывает к крови[64].

Глава 6

Гайдуки

Немчо остался сиротой
без отца, без матери,
никого на свете нет,
кто б совет дал, научил,
как пахать, как собирать
урожай с земли отца.
Он подался в гайдуки,
носит знамя боевое
и добычу сторожит.
Баллада гайдуков[65]

С XV века жизнь крестьян в горах и пустынных степях Юго-Восточной Европы становилась все тяжелее из-за наступления христианских феодалов и турецких завоевателей, но, в отличие от более густонаселенных или более жестко управляемых областей, там оставалась широкая зона потенциальной свободы. Группы и общины свободных, вооруженных и воинственных людей возникали среди высланных и беглых поначалу почти спонтанно, позднее в более организованной форме. То, что ученые назвали «военной стратой, возникшей из свободного крестьянства», стало характерным явлением этой большой зоны и получило разные имена на разных территориях: *казаки* в России, *klephtes* (клефты) в Греции, *гайдамаки* в Украине. В Венгрии и на Балканском полуострове севернее Греции в основном — гайдуки (*hajdú, hajdut, hajdutin*) — слово венгерского происхождения, изначально означающее «перегонщика скота». Они были коллективной формой того индивидуального крестьянского диссидентства, которое, как мы уже видели, порождало классических бандитов.

Как и в случае среды, из которой возникали робины гуды и народные мстители, гайдуки не обязательно восставали против любой власти. Они могли, как в некоторых частях Венгрии, прибиваться к феодалам в роли боевой силы, в обмен на признание за ними статуса свободных людей. С естественным развитием

реальности и языка термин «*heiduck*», преимущественно обозначавший вольного грабителя-освободителя, мог стать названием для одного из многочисленных типов прислуги у немецкой знати. Более распространено было, как в России и Венгрии, получение ими земли от императора, царя или князей в обмен на обязательство содержать оружие и коней и выступать против турков под началом тех или иных предводителей, то есть стать стражей военной границы, своего рода рядовым рыцарством. Тем не менее они в основном оставались вольными людьми — относясь, таким образом, к крепостному крестьянству с чувством презрительного превосходства — и постоянно притягивали к себе мятежные и беглые элементы, сами отнюдь не исповедуя безоговорочную преданность. Все крупные крестьянские бунты XVII и XVIII веков в России начинались в казацких краях.

Был, однако, и третий тип гайдучества, представители которого отказывались присоединяться к какому-либо христианскому знатному лицу или правителю хотя бы по той причине, что в их области процветания преобладали неверующие турки. Ни за царя, ни за феодала. Эти вольные гайдуки занимались грабежами, враждовали с турками, исполняли социальную роль народных мстителей, обеспечивали примитивные зачатки партизанского сопротивления и освободительного движения. В качестве таковых они стали появляться в XV веке, вероятно сначала в Боснии и Герцеговине, а позднее по всем Балканам и Венгрии, наиболее заметны были в Болгарии, где вожак «*haidot*» был отмечен еще в 1454 году. Именно эти люди, чье название я выбрал для обозначения высшей формы примитивного бандитизма, находились ближе всего к постоянному и сознательному фокусу крестьянского повстанчества. Такие «гайдуки» существовали не только в Юго-Восточной Европе, но под разными именами в разных частях света, например в Индонезии, или, наиболее известный пример, в императорском Китае. По понятным причинам более всего они были распространены среди народов, притесняемых завоевателями с чужим языком или религией, но не только лишь там.

Обычно идеология или классовая сознательность не становились мотивом для того, чтобы люди подавались в гайдуки, не были у них распространены и те мелкие проблемы с законом, которые часто выводили отдельных людей на бандитскую дорожку.

Есть и такие примеры, так случилось у болгарского предводителя гайдуков Панайота Хитова (оставившего нам бесценную автобиографию), который в 1850-х годах ушел в горы в возрасте 25 лет после стычки с турецким судебным чиновником из-за какой-то неизвестной нам теперь проблемы. Но в целом, если верить бесчисленным песням и балладам гайдуков (которые составляют наш главный источник знаний о них), мотивы были сугубо экономические. Зима была тяжелая, гласит одна такая песня, лето выдалось засушливое, овцы перемерли. Так Стоян стал гайдуком.

> Кто захочет стать вольным гайдуком,
> сделай шаг, встань рядом со мной.
> Двадцать парней собрались вместе,
> и не было у нас ничего промеж нас,
> ни одной острой сабли, одни дубины[66].

Напротив, гайдук Татунчо вернулся в семейную усадьбу, вняв просьбам матери, которая считала, что грабитель не может прокормить свою семью. Но султан все равно послал солдат схватить его. Гайдук перебил их всех и принес деньги из их поясов: «Вот деньги, мать, кто теперь скажет, что бандит не может прокормить свою мать?» В самом деле, при определенной удаче разбойничать было финансово выгоднее, чем заниматься крестьянским хозяйством.

В таких обстоятельствах чистый социальный бандитизм встречался редко. Панайот Хитов выделяет один такой случай в своем обзоре славных последователей этого призвания, которому он и сам служил украшением: некий Дончо Ватач, действовавший в 1840-е, наказывал только турецких злодеев, помогал бедным болгарам, раздавал деньги. Классическими болгарскими «благородными разбойниками», замечают британские авторы «*A Residence in Bulgaria*» (1869), склонные симпатизировать исламскому героизму, были «*челеби*», как правило турки «хороших семей», в противоположность «*хирсис*», обычным ворам, которые пользовались поддержкой своих деревень, и гайдукам, которые были опасными преступниками, жестокими по природе и имевшими поддержку только со стороны собственной банды. Возможно, это некоторое преувеличение, но гайдуки определенно

не были робин гудами, а их жертвами оказывались все, кто попадался им на пути. Все баллады полны вариаций на эту тему:

Много матерей плачут из-за нас,
Много жен остались вдовыми,
Многих мы сделали сиротами,
Ведь мы и сами без детей.

Жестокость гайдуков широко известна. Без всякого сомнения, гайдуки были в гораздо большей степени отрезаны от крестьянского уклада, нежели типичные социальные бандиты, у них не было ни хозяина, ни — по крайней мере, во время бандитского периода жизни — зачастую и родни («без матерей мы все, и без сестер»). Их связь с крестьянским миром была такая же, как у солдат, отправленных в почти вечную ссылку войсковой службы. Довольно значительную часть гайдуков составляли пастухи и гуртовщики, то есть люди, ведущие полукочевой образ жизни, чья связь с поселениями и так слабая или прерывистая. Примечательно, что греческие клефты (возможно, и славянские гайдуки тоже) имели собственный специальный язык, арго.

Различие между грабителями и героями, между тем, что крестьянин готов принять как «правое» и осудить как «неправое», было, таким образом, крайне тонкой материей, и песни гайдуков подчеркивают их грехи столь же часто, сколь их добродетели. Так и знаменитые китайские «Речные заводи» подчеркивали бесчеловечность бандитов (выражалось это в известных байках о некоторых бандитах, присоединившихся к большой и пестрой преступной шайке)[1]. Определение героя-гайдука по существу политическое. На Балканах он был *национальным* бандитом, следовал определенным традиционным правилам, то есть был защитником (или отмстителем) христиан против турок. До тех пор, пока гайдук борется с угнетателем, его образ будет положительным, несмотря на черные деяния и то, что грехи могут привести его в конечном

[1] Мне, однако, неизвестно о каких-либо гайдуках, обвиняемых в антропофагических практиках — обычно речь идет от убийстве путников и последующей продаже их мяса мясникам, — видимо, это общество все-таки приберегает для преступников, по-настоящему считающихся уже за рамками нормального общества.

итоге к монашескому покаянию, или наказать его немощью на девять лет. В отличие от «благородного разбойника», гайдук не нуждается в личных нравственных оценках; в отличие от «мстителя», жестокость не характеризует его самого, но допускается ввиду его службы народу.

Мощная традиция, признанная обществом коллективная социальная функция этой группы, превращала это собрание маргиналов, выбравших даже не столько свободу против рабства, сколько грабежи против нищеты, в квазиполитическое движение. Как мы уже видели, основные причины для ухода в горы были экономические, самое подходящее слово, обозначающее переход в гайдуки, — бунт, гайдук, по определению, был повстанцем. Он присоединялся к признанной социальной группе. Веселое лесное братство Шервуда мало что значило без Робин Гуда, но балканские гайдуки, подобно бандитам китайских гор за озером, всегда были готовы принять несогласного или преступника. Их главари меняются, некоторые более знамениты и знатны, чем другие, но ни само их существование, ни слава не зависят от репутации отдельных людей. В этом отношении они являются общественно признанным коллективом героев, и в самом деле, насколько я могу судить, персонажами балладных эпосов гайдуков являются не прославленные вожди из реальной жизни, а безымянные герои — названные обычными Стоянами или Иванчо, как рядовые крестьяне, необязательно даже вожаки банд. Баллады греческих клефтов одновременно менее безымянные и менее социально информативные, поскольку относятся к литературе прославления (и самопрославления) профессиональных бойцов. Их персонажи, по определению, практически знаменитые фигуры, известные всем и каждому.

Постоянство существования привело к возникновению формальной структуры и организации. Организация и иерархия великой разбойничьей республики, о которой говорится в китайском романе «Речные заводи», была чрезвычайно сложной; и не только потому, что, в отличие от необразованных областей Европы, там всегда находилось почетное место для экс-чиновников и не пришедшихся ко двору интеллектуалов (одним из лейтмотивов книги, в самом деле, оказывается замена не слишком интеллектуально развитого вожака бандитов — одного из провалившиx экзамены кандидатов, которые были столь явным источником политическо-

го диссидентства в Поднебесной — на более успешного в этом плане. Как говорится, триумф превосходящего разума). Бандами гайдуков руководили выборные воеводы, чьей задачей было снабжение боеприпасами и оружием, им помогал знаменосец (*байрактар*), который носил красное или зеленое знамя, а также выполнял функции казначея и квартирмейстера. Сходную военизированную структуру и терминологию мы встречаем у русских разбойников и в некоторых общинах индийских дакоитов, как, например, у санси, где бандами сипаев («солдат») руководили джемадары, получавшие две части добычи на каждую часть, выделенную рядовому сипаю, и вдобавок еще 10% от нее за обеспечение банды факелами, копьями и прочим подручным арсеналом[1].

Гайдучество тем самым оказывалось во всех отношениях более серьезным, более амбициозным, постоянным и институционализированным вызовом официальной власти, чем рассеяние робин гудов или иных мятежников-грабителей, возникавших в каждом нормальном крестьянском обществе. Сложно сказать, произошло ли это потому, что определенные географические или политические условия создали возможность для возникновения такого постоянного и формализованного бандитизма и автоматически сделали его потенциально более «политическим». Или же именно определенные политические ситуации (например, иностранные завоевания или определенного рода социальные конфликты) способствовали необычайно «сознательным» формам бандитизма и потому придали его структуре прочность и постоянство.

---

[1] Индийские дакоиты обычно классифицировались британцами как «преступные касты» или «преступные племена». Но за известным индийским стремлением присваивать каждой социальной и профессиональной группе свою отдельную социальную идентичность (т.е. то, что в широком использовании называют «кастовой системой») мы зачастую можем разглядеть нечто не столь далекое от гайдучества. Так, наиболее известное из бандитских «племен» Северной Индии — бадхаки — исходно были париями мусульманского и индуистского происхождения, «своего рода пещерой Адуллама, принимающей бродяг и темных личностей из разных других племен»; санси, хотя исходно выросли из племени наследных бардов и родословов — и до сих пор удерживают эти функции в Раджпуте с конца XIX века, — свободно допускали рекрутов извне в свою общину; а наводящие страх мина из Центральной Индии считались обнищавшими крестьянами и деревенскими сторожами, которые ушли в горы и стали профессиональными разбойниками.

Мы можем сказать, что и то и другое, хотя это будет уклонением от вопроса, который все еще требует ответа. Я не думаю, что какой-либо гайдук мог бы дать ответ, потому что вряд ли он смог бы выйти за пределы тех социально-культурных рамок, которые задавали жизнь его и его народа. Давайте же попробуем набросать его портрет.

В первую очередь он видит себя свободным человеком, а как таковой — он не хуже князя или царя; в этом смысле он добился своего освобождения, а значит, превосходства. Клефты Олимпа, захватившие в плен почтенного герра Рихтера, гордились своим равенством царям и не признавали некоторые виды поведения как «не царские» и следовательно предосудительные. Также и бадхаки Северной Индии заявляли, что «наша профессия — королевское занятие», и — по меньшей мере в теории — принимали на себя рыцарские обязательства: не оскорблять женщин и убивать только в честном бою, хотя мы с уверенностью можем считать, что мало кто из гайдуков мог себе позволить сражаться в такой благородной манере.

Свобода также подразумевала равенство гайдуков между собой, и тому есть несколько впечатляющих примеров. Когда король Ауда попытался сформировать полк из бадхаков, подобно тому, как русский и австрийский императоры создавали части из казаков и гайдуков, те взбунтовались, потому что офицеры отказались выполнять те же функции, что и рядовые. Такое поведение достаточно необычно, но в обществе, столь проникнутом кастовым неравенством, как индийское, это просто совершенно невероятно.

Гайдуки всегда были вольными людьми, но в типичном случае балканских гайдуков они не формировали вольных общин. *Чета* (или банда), будучи по сути добровольным объединением индивидуумов, отрезавших себя от своей родни, автоматически становилась аномальным социальным элементом, потому что там не было ни жен, ни детей, ни земли. Это было вдвойне неестественно, потому что часто возвращению гайдука к обычной гражданской жизни в своей родной деревне препятствовали турки. Баллады гайдуков повествуют о мужчинах, «чьи сестры — их сабли, жены — их ружья», которые молча с грустью пожимают руки, когда *чета* расходится и рассеивается отдельными индивидуумами по четырем концам света. Смерть была для них аналогом брака,

и баллады постоянно говорят о ней в таком ключе. Таким образом, обычные формы социальной жизни были для них недоступны, как для солдат во время военной кампании и в отличие от крупных банд мародерствующих *кырджали*[I] конца XVIII и начала XIX века, которые возили с собой мужские и женские гаремы в обычной турецкой манере. Гайдуки не пытались заводить семьи, пока они продолжали оставаться гайдуками; возможно, потому, что отряды были слишком малы, чтобы их защитить. Если у них и была какая-то модель социальной организации, это было мужское братство, или общество, наиболее известным примером которого является знаменитое запорожское казачество.

Эта аномалия хорошо проявляется в отношении к женщинам. Как и все бандиты, гайдуки ничего не имеют против них. Даже напротив, как указывалось в конфиденциальной докладной записке о македонском командире *комитаджи*[II] в 1908 году, «как почти все воеводы, он большой любитель женщин»[67]. Девушки — любопытно, что в балладах встречаются, похоже, болгарские еврейки — иногда присоединяются к гайдукам, а порой даже какая-нибудь Бояна, Еленка или Тодорка сама становится воеводой. Некоторые после ритуального прощания возвращаются к обычной жизни и замужеству.

Пенка идет в горы
В горы к гайдукам
Чтобы всем подарки
Отнести в честь свадьбы:
Платок каждому бойцу
А в платке монетка,
Чтобы все запомнили
Как вышла Пенка замуж[68].

Но похоже, что на период своей жизни в образе гайдука, эти беглые девицы становились мужчинами, по-мужски одевались

I Отряды разрозненных военнослужащих и преступников, бродившие по Болгарии в конце XVIII века.

II Партизанские отряды под руководством Верховного македонского комитета Внутренней македонско-одринской революционной организации.

и по-мужски сражались. Одна баллада рассказывает о девушке, вернувшейся домой к женским занятиям по просьбе матери, как она не смогла выдержать этого, бросила свою прялку, схватила ружье и вернулась в ряды гайдуков. Как свобода означала благородный статус для мужчины, так же она означала мужской статус для женщины. И наоборот, по крайней мере в теории, в горах гайдуки избегали сексуальных отношений с женщинами. Баллады клефтов подчеркивают неприкосновенность женщин-заложниц, клефты и болгарские бандиты придерживались поверья, что посягательство на женщину немедленно приводит к пленению (а значит, и к мучительной смерти) турками. Само поверье имеет значение, даже если на практике (как вполне можно подозревать) бандиты не всегда ему следовали[69]. В других бандах, не у гайдуков, женщины встречаются, но это не распространено. Кажется, Лампион был единственным из бразильских вожаков, кто допустил женщин разделить тяготы бандитской жизни; возможно, из-за любви к прекрасной Марии Боните, многократно прославленной в балладах. Это было заметным исключением.

Разумеется, это могло не принимать чрезвычайных масштабов, поскольку, как и жизнь обычного грабителя, жизнь гайдука подчинялась смене сезонов. Как писал в XVIII веке один немец из далматской Морлахии, «есть такая поговорка: гайдуки соберутся, как придет День святого Георгия (потому что грабить становится легче с появлением зелени и изобилием путников)»[70]. Болгарские гайдуки закапывали свое оружие в День Святого Креста 14 (27) сентября до весны, до Дня святого Георгия. И действительно, что делать было гайдукам зимой, когда грабить некого, кроме поселян? Самые суровые могли бы продержаться в горных пещерах, но гораздо удобнее было перезимовать в дружественной деревне, выпивая под героические песни, а если сезон не слишком задался (сколько можно было награбить на проселочных дорогах Македонии или Герцеговины в лучшие времена?), могли пойти в услужение к зажиточным крестьянам. Либо могли вернуться к своей родне, потому что в горных районах «мало было больших семей, которые не посылали никого к гайдукам»[71]. Если преступники и жили в строго мужском обществе, не признавая никаких связей, кроме «настоящей единой банды товарищей», то это происходило только в сезон кампаний.

Так они и жили своей дикой, вольной жизнью в лесах, горах или диких степях, вооруженные «ружьем, высотой с человека», парой пистолетов на поясе, ятаганом[I] и «острой французской саблей», в изукрашенных и позолоченных кафтанах, перекрещенных патронташами, с встопорщенными усами, прекрасно знающие, что слава среди друзей и врагов будет их наградой. Мифология героизма, ритуализация баллад превращала их в архетипические фигуры.

Мы почти ничего не знаем о Новаке и его сыновьях Груе и Радивое, о пастухе Михате, Раде из Сокола, Буядине, Иване Весниче и Луке Головране, кроме того, что они были прославленными боснийскими гайдуками XIX века, потому что тем, кто пел о них (в том числе и они сами), не было нужды рассказывать слушателям, какова была жизнь боснийских крестьян и пастухов. Лишь временами поднималась завеса героической безымянности, и карьера гайдука хотя бы частично попадала под луч истории.

Такова история воеводы Корчо, сына пастуха из окрестностей македонской Струмицы, который служил у турецкого бея. Стадо пало от эпидемии, и бей бросил отца в темницу. Сын ушел в горы, чтобы оттуда грозить турку, но это не помогло: старик умер в заключении. Тогда Корчо во главе банды гайдуков пленил юного турецкого «дворянина», переломал ему руки и ноги, отсек голову и провез ее на копье по христианским селам. После того он пробыл гайдуком десять лет, а потом купил несколько мулов, переоделся в купца и исчез — по крайней мере из мира героических баек — на последующие десять лет. Затем он появился во главе отряда из трехсот человек (не будем слишком вдаваться в круглые цифры, свойственные сказаниям) и пошел на службу к доблестному Пазвану[II], который находился в оппозиции к Высокой Порте и вел свои отряды *кырджалиев* в наступление на самых лояльных вассалов султана. Но Корчо недолго находился на службе у Пазвана. Отправившись восвояси, он напал и захватил город Струмицу, не только потому, что гайдуки ненавидели города и не доверяли им, но и потому, что там укрывался бей, уморивший его отца. Воевода убил бея и вырезал население города. Затем он вернулся в Видин,

---

I Мусульманская сабля, без гарды, часто с обоюдоострым лезвием.

II Осман Пазван-оглу, босниец-мусульманин, будущий паша Видина.

и здесь история (или легенда) теряет его следы. Его дальнейшая судьба неизвестна. Поскольку эпоха кырджалийских набегов относится примерно к 1790–1800-м годам, его биография поддается грубой датировке. Его история известна в пересказе Панайота Хитова.

Само их (гайдуков) существование было достаточным оправданием их действий. Оно доказывало, что угнетатели не всемогущи, им можно нанести ответный удар. И вот крестьяне и пастухи идентифицируются с гайдуками в их родных краях. Не следует полагать, будто они все время проводили в сражениях, и уж тем более в борьбе с угнетателями. Само наличие банд вольных людей или этих клочков каменистой земли вне досягаемости любой администрации, уже было значительным достижением.

Греческие горы, амбициозно именующиеся Аграфа (то есть «неописанные», потому что никто не преуспел в переписи населения для налогообложения), были независимы на практике, если не по закону. Итак, гайдуки отправляются в набеги. По логике своих занятий, они должны были сражаться с турками (или теми, кто представлял власти, потому что делом властей было защищать транспортируемые товары и казенные ценности). Они, без сомнения, с особенным удовлетворением убивали турок, поскольку те были неверными псами и притесняли добрых христиан, а также вероятно, потому, что бойцы проявляют еще больше геройства, сражаясь с опасным соперником, чья смелость только усиливает их собственную. Однако нет никаких признаков того, что, будучи предоставлены самим себе, скажем, балканские гайдуки отправились бы освобождать собственную землю от турецкого ига, или вообще были бы на это способны.

Разумеется, во времена трудные для народа и кризисные для власти число гайдуков и их банд будет расти, их активность увеличивается и становится более дерзкой. В такие моменты правительственные призывы к подавлению бандитизма начинают звучать все более требовательно, отговорки местных руководителей начинают выглядеть более громкими и искренними, а настрой местного населения становится все более напряженным. Потому что, в отличие от эпидемических вспышек обычного бандитизма, которые мы ретроспективно определяем в качестве предвестников революции только по причине их действительного предше-

ствования, гайдуки были не просто симптомами беспорядков, а ядром потенциального освобождения, признанного в этом качестве народом.

Когда приходило время, «освобожденная земля» китайских бандитов на горе Лянь-Шань (место их «пристанища» в знаменитом романе «Речные заводи») разрасталась до размеров области, провинции, ядра той силы, что опрокинет небесный трон. Бродячие шайки преступников, налетчиков и казаков на бурлящем пограничье между государством и рабством, с одной стороны, открытыми пространствами и свободой — с другой, сойдутся, чтобы вдохновить и повести огромное крестьянское восстание, которое стремительно поднимется по Волге, возглавляемое казацким претендентом или же защитником царя подлинного от лжецаря. Яванские крестьяне будут слушать с растущим интересом историю Кена Ангрока, вора, ставшего основателем королевского дома Маджапахитов. Если знамения благосклонны, время придет через сто дней после созревания маиса, и вот уже возможно наступает тысячелетие свободы, всегда подспудное, всегда ожидаемое. Бандитизм сливается с крестьянским мятежом и революцией. Гайдуки, в блеске своих мундиров, в грозном бряцании своего оружия и экипировки, могут стать ее солдатами.

Однако, прежде чем оценивать роль бандитов в крестьянской революции, нам необходимо взглянуть на экономические и политические факторы, поддерживающие их в рамках существующего общества.

Глава 7

Экономика и политика бандитизма

> Любопытным образом результаты постоянных наблюдений и исследований совпадают в следующем факте: все бандиты неимущи и безработны. У них может быть только личное имущество, которое им приносят в случае успеха их дерзкие предприятия.
>
> *Экономическая интерпретация роста численности бандитов в Китае*[72]

Шайка грабителей находится вне того социального уклада, который сковывает бедных, это братство вольных людей, а не общество по интересам. Тем не менее она не может исключить саму себя из общества. Ее потребности и деятельность, само существование приводит ее к отношениям с обыкновенной экономической, социальной и политической системой. Этот аспект бандитизма обычно недооценивается исследователями, но он достаточно важен и достоин небольшого обсуждения.

Рассмотрим сначала экономику бандитизма. Грабителям необходимо питаться, им нужно пополнять запасы оружия, боеприпасов. Им нужно тратить краденые деньги или продавать награбленное. Верно, что в простейшем случае им не нужно ничего, что бы сильно отличалось от потребления местного крестьянина или пастуха — местная пища, питье, одежда, — им можно только радоваться, если они получают это все в достаточных количествах, не прикладывая к этому того труда, который требуется от обычного человека. «Никто никогда ни в чем им не откажет, — говорит бразильский землевладелец. — Это было бы глупо. Люди дают им еду, одежду, сигареты, алкоголь. Зачем им нужны деньги? Что они с ними будут делать? Подкупать полицию?»[73]. Однако большинство известных нам бандитов живут в условиях денежной экономики, даже если окружающее их крестьянство — нет. Как и откуда берутся «накидки с пятью рядами позолоченных пуговиц», ружья,

пистолеты и патронташи, легендарные «дамасские сабли с позолоченными рукоятями», которыми хвалились сербские гайдуки и греческие клефты, не всегда сильно преувеличивая?[1]

Что же они делают с угнанным скотом, с товарами странствующих купцов? Покупают и продают. В самом деле, учитывая, что у бандитов, как правило, гораздо больше денег, чем у местных крестьян, их траты образуют важную составляющую местной

---

[1] Полицейский перечень изъятого у бандита Лампиона снаряжения (Баийя, Бразилия, 1938):

Шляпа: кожаная, как носят в лесных районах, украшена шестью звездами Соломона. Кожаный ремешок, длиной 46 см, украшен 50 золотыми украшениями различного происхождения, в частности: запонки для воротника и манжет, прямоугольники с выгравированными словами «Память», «Дружба», «Тоска по дому» и т.п.; набор колец с различными драгоценными камнями; обручальное кольцо с именем Сантинья, выгравированным с внутренней стороны. Спереди шляпы прикреплена полоска кожи 4 на 22 см со следующими украшениями: 2 золотых медальона с надписью «Бог тебе судья»; 2 золотых соверена; 1 старая золотая бразильская монета с изображением императора Педро II; 2 другие, еще более старые, датированные, соответственно, 1776 и 1802 годами. С задней стороны шляпы такая же полоска кожи, украшенная следующим: 2 золотых медальона; 1 небольшой бриллиант классической огранки, 4 других, причудливой огранки. *Ружье*: армейский бразильский «Маузер», модель 1908 года, № 314, серия В. Патронташ украшен 7 серебряными кронами императорской бразильской чеканки, 5 дисками белого металла. Предохранитель сломан и укреплен алюминиевой вставкой.

Нож: стальной, длиной 67 см. Рукоятка украшена 3 золотыми кольцами. Лезвие имеет следы от пуль. Ножны из кожи, обшитой пластинками никеля, тоже имеют пулевое отверстие.

Подсумок: кожаный, украшенный. Может вместить 121 патрон для «Маузера» или мушкета. Прикреплен свисток на серебряной цепочке. Пулевое отверстие с левой стороны.

Вещмешки: 2, покрыты обильной вышивкой. Вышивка ярких цветов, сделана с большим вкусом. Один закрывается на 3 пуговицы, 2 золотых, 1 серебряную; у второго только 1 серебряная пуговица. На ремнях нашито 9 массивных серебряных пуговиц.

Шейный платок: красного шелка с вышивкой.

Пистолет: «Парабеллум» № 97, модель 1918 года, кобура, покрыт почти стертым черным лаком.

Сандалии: одна пара, из тех, что обычно носят в сертане, но высочайшего качества и выделки.

Куртка: синяя, с тремя офицерскими полосками на рукавах.

Одеяла: 2, ситцевые, набиты хлопком. (M. I. P. de Queiroz, op. cit. P. 9–10.).

экономики, распределяясь через местные лавки, постоялые дворы по коммерческому посредническому слою сельского общества; распределение тем более эффективно, что бандиты (в отличие от мелкой знати) тратят в основном на месте, а также слишком горды и щедры, чтобы торговаться. «Торговец продает Лампиону товар в три раза выше обычной цены» (сообщение 1930 года).

Все это означает, что бандиты нуждаются в посредниках, которые связывают их не только с местной экономикой, но и с более крупными коммерческими сетями. Они нуждаются, как Панчо Вилья, хотя бы в одной дружественной гасиенде за горами, которая будет принимать скот и организовывать его продажу без лишних вопросов. Могут узаконить, как полукочевые тунисские бандиты, систему возвращения краденого скота за «вознаграждение» через оседлых посредников, постоялые дворы и лавки, которые находят жертву и сообщают прекрасно понятную всем сторонам новость: что им известен некто, кто «нашел» беглый скот и мечтает скорее вернуть его хозяину. Они могут собирать деньги, подобно многим бандам индийских дакоитов, на финансирование своих более серьезных предприятий среди ростовщиков и торговцев у себя дома или даже грабить богатые караваны, по сути, за комиссию для предпринимателей, которые им дают наводку. Там, где бандиты специализируются на грабеже транзитных потоков (а так делают все разумные бандиты, если им повезло жить на небольшом расстоянии от больших торговых и почтовых путей), им необходимо обладать информацией об ожидающихся отправках или конвоях, а также им, вероятно, нужен какой-то механизм сбывания добычи, которая может состоять из товаров, на которые нет местного спроса.

Посредники очевидным образом необходимы для похитителей, которые требуют выкупа, что долго было (и остается) самым выгодным источником дохода для бандитов. Выкуп, скорее всего, выплачивается наличными или каким-то их эквивалентом, то есть тоже входит в более широкую денежную экономику. В Китае это было настолько распространено, что могло рассматриваться как «вид неофициального налога на состояние, накладываемого на местных собственников, и в таком качестве было социально оправдано в глазах бедных, по крайней мере до тех пор, пока ограничивалось богатыми. А что касалось последних, то, поскольку

каждый богатый китаец понимал, что рано или поздно его похитят, у него всегда была отложена определенная сумма на внесение выкупа»[74].

Таким образом, было бы ошибкой воспринимать бандитов просто как детей природы, жарящих дичь посреди леса. Успешный главарь разбойников столь же близок к рынку и огромной экономической вселенной, как и небольшой землевладелец или преуспевающий фермер. В действительности в экономически отсталом регионе его занятие может вовлекать его в эти процессы больше, чем прочих, что путешествуют, продают и покупают.

Балканские торговцы крупным и мелким скотом могли легко удвоить свои доходы, став во главе разбойничьей шайки, подобно тому, как капитаны торговых судов в доиндустриальную эпоху могли пробовать свои силы в пиратстве (или наоборот), даже не прибегая к содействию правительства, чтобы стать каперами, то есть законными пиратами. В истории балканского освободительного движения много героических торговцев скотом с репутацией разбойничьих главарей, таких, как Карагеоргий в Сербии или Колокотронис в Греции; а история балканского бандитизма, как мы уже могли убедиться, упоминает немало гайдуков, которые для прикрытия «переодевались купцами» и пускались в торговлю. Мы склонны удивляться превращению сельских бандитов на Корсике или внутренней Сицилии в мафиози — бизнесменов и предпринимателей, — которые могут разглядеть экономические возможности международной наркоторговли или строительства роскошных отелей не хуже прочих; но угон скота, на котором многие из них собаку съели, это деятельность, которая расширяет экономический горизонт крестьянина. Как минимум, она соединяет его с людьми, чьи горизонты шире его собственного.

И все же с точки зрения экономики бандит не самая интересная фигура, и хотя он может заслужить пару сносок в учебнике по экономическому развитию, но вряд ли больше. Он способствует накоплению местного капитала — причем практически наверняка в руках тех, кто на нем паразитирует, чем в собственных щедрых руках. Когда он обворовывает транзитную торговлю, его воздействие на экономику можно сравнить с туристическим бизнесом, который также извлекает прибыль из иностранцев: в этом смысле разбойники с гор Сардинии и девелоперы Изумрудного берега

Ага-Хана экономически представляют из себя близкие явления[1]. Вот к этому примерно все и сводится. Подлинное значение бандитских экономических связей в другом. Оно в том, что они подчеркивают то положение, которое бандит занимает в сельском обществе.

Ключевым моментом социального положения бандита является его двойственность. Он аутсайдер и бунтарь, бедняк, который отказывается следовать обычной роли нищего и добивается своей свободы посредством единственных доступных бедняку ресурсов — силы, смелости, хитрости и решимости. Это ставит его рядом с бедными: он один из них. Это же ставит его в оппозицию к иерархии власти, богатства и влиятельности: он вне ее. Ничто не превратит крестьянина-разбойника в «джентльмена» в кругах, где он вращается. Из низов нельзя попасть в знать. В то же время бандит неминуемо втягивается в паутину богатства и власти, поскольку, в отличие от остальных крестьян, он приобретает богатство и проявляет власть. Он «один из нас», находящийся в постоянном процессе ассимиляции с «ними». Чем более он успешен в роли бандита, тем в большей степени он *одновременно* представляет и защищает бедных и становится частью системы богатых.

Справедливо то, что изолированность сельского общества, тонкость и прерывистость его связей, расстояния, на которые они действуют, и общая примитивность сельской жизни позволяют бандиту более или менее успешно разделять эти свои роли. Его аналог в плотно населенных иммигрантских городских трущобах, локальный гангстер или политический заправила (который тоже, в определенном смысле стоит на стороне бедных против богатых и порой даже делится с бедными тем, что добыл у богатых), в го-

---

[1] Близкие в том числе по маргинальности своего воздействия на окружающую экономику. Ведь там, где существует особенно большой зазор между местной экономикой и туристическим анклавом, большая часть дохода, принесенного туристами, вновь уходит на оплату их потребления, например, на роскошные катера, шампанское и водные лыжи, которые оплачиваются в иностранной валюте. Так и разбойничий главарь, грабящий проезжих купцов и покупающий на вырученное украшения, вооружение и изысканно украшенные сабли или прожигающий доходы на столичную жизнь, вносит лишь маргинальный вклад в экономику своего региона.

раздо меньшей степени бунтарь и преступник, и в гораздо большей — босс. Его связи с центрами официальной власти и богатства (например, городской ратушей) значительно более очевидны — в самом деле, они, возможно, являются наиболее очевидной его характеристикой.

Сельский бандит на первый взгляд может быть вне «системы». Его личные отношения с не-бандитским миром могут просто быть родственными, он может входить в местную сельскую общину, то есть он может как будто бы полностью принадлежать независимому отдельному миру, где живут крестьяне, а знать, правительство, полиция, сборщики налогов, иностранные оккупанты лишь изредка производят набеги. Также в качестве лидера вольной и мобильной вооруженной группировки, не зависящей ни от кого, он выстраивает отношения с центрами власти и богатства, которые могут со стороны казаться просто отношениями двух суверенных объектов, которые влияют на занятую им позицию, не более чем торговые переговоры с Британией влияют на революционный статус Кубы Фиделя Кастро. И все же бандит не может так легко избегнуть логики существования в обществе власти и эксплуатации.

Ведь основным фактором бандитизма является то, что совершенно независимо от нужды бандита в деловых контактах, он является центром вооруженной силы, а следовательно, и силы политической. В первую очередь разбойничья банда это нечто, с чем локальная система должна достичь договоренностей. Там, где нет регулярных (либо эффективных) механизмов поддержания общественного порядка — а это практически по определению ситуация расцвета бандитизма, — нет большого смысла обращаться к властям за защитой, тем менее, что такое обращение с большой вероятностью приведет экспедиционные войска, которые скорее оставят в руинах всю сельскую местность, нежели разгромят бандитов:

> Я предпочитаю иметь дело с бандитами, нежели чем с полицией (сообщает бразильский землевладелец в 1930 году. — *Авт.*). Полиция это куча «собаколовов», которые приезжают из столицы и считают, что все мы в своем захолустье защищаем бандитов. Они думают, что мы знаем все их тайные тропы. Так что их главная цель — добиться от нас признания любой ценой... Если

мы говорим, что не знаем, они бьют нас. Если мы скажем им, они все равно будут нас бить, потому что это доказывает наш сговор с бандитами... Деваться некуда... — А бандиты? — А бандиты ведут себя как бандиты. Имейте в виду, с ними надо уметь обращаться, чтобы они не причиняли вреда. Если не говорить о нескольких действительно жестоких парнях, они не причиняют вреда, если только полиция не висит у них на хвосте[75].

Обособленные имения в таких областях давно научились устанавливать дипломатические отношения с разбойниками. Женщины из хороших семей вспоминают в своих мемуарах, как, будучи детьми, они отсылались прочь, когда вечером на гасиенду прибывал отряд вооруженных мужчин; хозяин дома вежливо и гостеприимно принимал их и столь же вежливо и со взаимным уважением прощался с ними, когда они отбывали в неизвестном направлении. Каких еще действий можно было от него ожидать?

Каждому приходится о чем-то договариваться с заметными, прочно себя поставившими бандитами. Это значит, что они до какой-то степени интегрируются в сложившееся общество. Идеалом, конечно, является формальный переход браконьеров в егери, что не столь уж необычно. Русский царь и помещики давали казакам земли и привилегии в обмен на отказ от грабительства в пользу охраны территории и интересов своего хозяина.

Гаджрадж, предводитель бадхаков, «из обезьяньего дрессировщика стал робин гудом Гвалиора» в 1830-х годах, и «стал таким сильным, что дурбар назначил его управлять переправами через Чамбал, что он и делал крайне выгодным для них образом». Мина, еще одно «преступное племя» Центральной Индии, наводили ужас на Алвар, но в Джайпуре они получили землю, освобожденную от уплаты аренды, в обмен на обязанность сопровождать конвои с ценностями, и всячески прославлялись за верность радже. В Индии, как и на Сицилии, деревенские и полевые (или пастушеские) профессии часто были взаимозаменимы с бандитской долей. Рамоси, небольшая дакоитская община в Бомбейском президентстве, получила землю, еще различные привилегии и право взимать плату со всех проезжающих в обмен на охрану поселений. Что может быть лучшей мерой против неконтролируемого бандитизма, чем такие договоренности?[76]

Оформляются ли такие договоренности на бумаге или нет, у обитателей таких охваченных бандитизмом областей зачастую нет другого выбора. Местные чиновники, которые хотят выполнять свое дело спокойно и без суеты — а кто же этого не хочет? — наладят контакт и достигнут разумных договоренностей с бандитами или будут рисковать неприятными инцидентами, которые создадут их области ненужную известность, а у вышестоящих чиновников создадут плохое мнение об их подчиненных. Этим объясняется то, почему в действительно зараженных бандитизмом регионах кампании против него столь часто проводятся специальными силами, привлеченными извне.

Местные торговцы достигают своих договоренностей, чтобы уберечь свой бизнес от постоянного ущерба. Даже местные армейские гарнизоны и полиция могут предпочитать простое удерживание преступности (явным или неявным соглашением с бандитами) ниже определенного уровня, чтобы не привлекать внимания столицы, что оставляет бандитам очень большое пространство, поскольку в доиндустриальный период взгляд центрального правительства не проникал слишком глубоко в заросли сельского общества, если только для того не находилось особого повода.

Однако местные представители власти и богатства не только вынуждены договариваться с бандитами, но и во многих сельских обществах у них есть к этому отчетливо выраженный интерес. Местная политика в областях, управляемых землевладельцами докапиталистического склада, включает в себя отношения соперников и сторонников между ведущими феодальными семьями, их вассалов и клиентов. Власть и влияние главы семьи в конечном итоге зиждется на численности людей, находящихся в его подчинении и под его защитой и отплачивающих ему преданностью и зависимостью. Это становится мерой его престижа и, следовательно, его способностью к созданию альянсов: боевых, предвыборных или каких-то еще, в зависимости от того, что определяет местную власть. Чем в большей глуши находится область, чем дальше, слабее и незаинтересованнее центральная власть, тем сильнее в местной политике (или даже в национальной, в зависимости от влияния местной политики на общую) эта способность магната или аристократа мобилизовать «своих». Если в местной политической калькуляции у него окажется достаточно клинков,

стволов или голосов, ему даже не нужно быть особенно богатым, богатство имеет значение в преуспевающих регионах с развитой экономикой. Конечно, богатство способствует расширению клиентуры, но только богатство, распределяемое щедро и даже напоказ, с целью показать аристократический статус и силу протекции. С другой стороны, большая и сильная масса сторонников больше способствует увеличению владений и денег, чем умение считать; хотя, конечно, целью этой политики является не преумножение капитала, а рост влиятельности семьи. Действительно, как только погоня за богатством отделяется от семейных интересов и даже превосходит их, эта политическая система рушится.

Эта ситуация идеально подходит для бандитизма. Она создает естественный спрос на разбойников, на определение их политической роли как местный источник вооруженных людей, не связанных никакими обязательствами, которые, если их убедить перейти под крыло знатного или богатого человека, сильно прибавят к его престижу, а в подходящей ситуации могут обеспечить ему перевес в военной или электоральной силе. Вдобавок вассальная система, образуемая знатью, обеспечивает подходящее занятие для отдельных бандитов, реальных или потенциальных.

Мудрый предводитель разбойников позаботится о том, чтобы примкнуть только к господствующей местной силе, гарантирующей реальное покровительство; но даже если он не принимает покровительства, он может быть вполне уверен в том, что местные заправилы рассматривают его как потенциального союзника, а следовательно, как человека, с которым лучше сохранять хорошие отношения. Именно поэтому в областях, далеких от сильного центрального правительства, подобных захолустным районам северо-востока Бразилии вплоть до 1940 года, прославленные разбойничьи банды могли действовать на протяжении удивительно долгого времени: Лампион продержался почти двадцать лет. С другой стороны, Лампион использовал эту политическую ситуацию, чтобы создать такое мощное формирование, которое могло выступать не просто усилением какого-нибудь большого захолустного «полковника», но и быть заметной самостоятельной силой.

В 1926 году колонна Престеса, мобильное повстанческое формирование под предводительством мятежного армейского офицера (впоследствии ставшим лидером Бразильской компар-

тии), достигло северо-востока после двух лет боевых маневров в других внутренних частях страны. Федеральное правительство обратилось за помощью к Мессии Жуайзейру, падре Сисеру, чья влиятельность сделала его крупной политической фигурой штата Сеара, отчасти потому, что Мессии удалось уберечь верующих от социально-революционной притягательности Престеса и его людей. Падре Сисеру, которого отнюдь не приводило в восторг присутствие федеральных войск в его вотчине (он указывал, что его паства вовсе не готова отвернуться от любого, кого правительство назовет бандитом, а колонна Престеса не отталкивала верующих своей антиобщественной позицией), принял это предложение. Лампиона пригласили в город Жуазейру, так называемый Иерусалим падре Сисеру, где приняли со всевозможными почестями; самый старший местный чиновник (инспектор министерства сельского хозяйства) официально пожаловал ему капитанское звание, а также по винтовке и 300 патронов каждому бойцу и велел гнать мятежников[1].

Великий бандит был сильно воодушевлен этим мгновенным переходом в законный статус. Однако дружески к нему настроенный «полковник» объяснил, что он просто становится пешкой в игре правительства, которое безусловно тут же отзовет его чин, как только Престес будет изгнан, и со столь же высокой вероятностью откажется соблюдать обещание об амнистии прошлых преступлений. Эти рассуждения, по-видимому, смогли убедить Лампиона, который с готовностью бросил преследование Престеса. Без сомнения, он разделял распространенное в местности мнение о том, что всем понятно, как иметь дело с мобильными вооруженными формированиями, а вот правительство — это что-то куда более непредсказуемое и опасное.

Единственные, кто не мог извлечь выгоды из такой удачной политической ситуации, были бандиты с отчетливо выраженной репутацией социальных бунтарей, настолько выраженной, что их смерть для любого землевладельца или аристократа была самым предпочтительным вариантом. Таких банд всегда было наперечет, их малое число определялось той легкостью, с которой

---

[1] Этот эпизод вошел в некоторые романы о Лампионе, упоминавшиеся выше. (См.: O. Anselmo. Op. cit. P. 528–536.)

крестьяне-бандиты могли установить отношения со значимыми фигурами.

Кроме того, политическая структура таких сельских обществ обеспечивала еще одно, и, возможно, самое серьезное, усиление для бандитизма. Если главенствующие семьи или партии оказывали ему покровительство, то проигрывающим, оппозиционным группам оставалось только прибегать к оружию, что, в крайних случаях, означало самим создать и возглавить бандитские формирования.

Тому есть многочисленные примеры. Слиман в своем «Путешествии по царству Ауда в 1849–1850» приводит список таких людей, как, например, Имам Букш, который продолжал держать шайку и заниматься грабежами, «хотя и восстановил владения на своих условиях». Эта же практика была в ходу (если не неизбежна) на Яве. Хорошим примером подобной ситуации является перуанский департамент Кахамарка в начале XX века, который породил немало «оппозиционных» бандитов, в частности Элеодоро Бенеля Сулуэта, против кого в середине 1920-х годов предпринимались развернутые военные кампании[77]. В 1914 году землевладелец Бенель сдал в аренду гасиенду Льяукан, что вызвало негодование среди местного индейского крестьянства, подстрекаемого братьями Рамос, которые занимались субарендой этого имения. Бенель обратился к властям, которые по обычаям того времени жестоко расправились с индейцами, еще более укрепив оставшихся в живых в их ненависти. Рамосы решили покончить с Бенелем, но смогли только убить его сына. «К сожалению, правосудие оказалось не на высоте, и преступление осталось безнаказанным», как тактично сформулировал историк, добавляя, что убийцы пользовались поддержкой некоторых личных врагов Бенеля, например, Альварадо Санта-Крус. Затем Бенель продал свое имущество, чтобы финансировать «внушительный легион своих подчиненных (*trabajadores*)[1], готовых отдать жизни за службу своему предводителю», и пошел войной на Альварадо и братьев Рамос. На этот раз правосудие высказалось определеннее, но Бенель укрепил собственную гасиенду и отказался повиноваться. Это, естественно, помогло ему «завоевать еще больше сочувствующих, которых он снабжал всем необходимым для жизни».

[1] *Trabajadores* — работников (*исп.*) — *Прим. пер.*

Бенель был лишь наиболее заметным из большого числа бандитских предводителей, которые возникали на фоне фактического провала правительственного авторитета, в сложном сочетании политического и личного соперничества, мести, политических и экономических амбиций, социального бунта. Военный историк так писал о той кампании:

> Крестьяне в тех поселениях были покорные и вялые, неспособные противостоять местным мелким тиранам. Однако, если ты еще живой — тебя будет приводить в ярость несправедливость. Таким образом, местная власть и авторитетные фигуры, недостаточно интеллектуально готовые к своим непростым задачам, умудрились объединить против себя осмелевший и набравшийся решимости народ... История любого народа показывает, что в таких ситуациях формируются вооруженные отряды. В Чоте они пошли за Бенелем, в Кутерво за Васкесами[1] и другими. Эти люди отправляли свое собственное правосудие, наказывая тех, кто узурпировал чужую землю, закрепляя официально браки, преследуя преступников и наводя порядок среди местных феодалов.
>
> В моменты выборов депутаты конгресса использовали этих бойцов, снабжая их оружием и науськивая против своих политических противников. Вооруженные формирования становились все сильнее, бандитизм достиг такого развития, что уже начал вызывать панику среди мирного населения[78].

Бенель действовал вплоть до 1923 года, пока не сделал ошибку, вступив в союз с местными властителями, которые планировали свержение грозного президента Легиа; после этого на сцену были выведены серьезные силы и ситуация в Кахамарке была приведена в порядок, что потребовало больших усилий. Бенель был убит в 1927 году. Рамос и Альварадо тоже исчезли из виду, равно как и некоторые другие бандитские вожаки.

---

[1] Трое братьев Васкес — Авелино, Росендо и Паулино — похоже, были мелкими землевладельцами, которые смогли в ходе своей деятельности обзавестись гасиендами Паллак и Камса. Их обманом уговорили на фальшивое «перемирие» и убили на посвященном им пиршестве, организованном субпрефектом.(Romulo Merino Arana. Historia policial del Peru. Lima, n.d. P. 177–178; G. Matos. Op. cit. P. 390–398.).

Подобное местное соперничество неотделимо от бандитизма. Весьма уместный пример — клан Макгрегоров в XVI–XVIII веках, в частности его самый знаменитый представитель — Роб Рой. Макгрегоры стали кланом грабителей, потому что враги намеревались их полностью истребить (и они действительно были формально распущены, а их клановое имя — запрещено). Репутация самого Роб Роя, как шотландского Робин Гуда, произошла главным образом из того, что он противопоставил себя герцогу Монтрозу, преуспевающему вельможе, который, по мнению Роб Роя, повел себя с ним несправедливо. Таким образом, вооруженное сопротивление тех, кто «вне», тем, кто «внутри» местной аристократической или семейной политики, может удовлетворить, по крайней мере локально и временно, чувство негодования бедных против своих эксплуататоров; ситуация, встречающаяся и при других социально-политических условиях. В любом случае там, где между семьями землевладельцев царит распря и брань, где возникают и рушатся семейные союзы, а наследства оспариваются с оружием в руках, где сильный набирает влияние и богатство над останками побежденного, там, естественно, очень легко находят себе применение банды вооруженных людей под началом обозленных аутсайдеров.

В условиях, поощряющих бандитизм, сельская политика вызывает, таким образом, два эффекта. С одной стороны, она культивирует, защищает и умножает бандитов, а с другой — интегрирует их в политическую систему. Предположительно, оба эффекта, вероятно, усиливаются там, где центральный государственный аппарат отсутствует либо он слабый, а региональные центры власти едва балансируют (или нестабильны), как в условиях «феодальной анархии», в приграничных зонах, среди изменчивой мозаики мелких царьков, в далеком захолустье.

Сильный император, король или даже барон устанавливают на своих землях собственный закон и вешают вольных вооруженных разбойников вместо того, чтобы им покровительствовать там, где те угрожают общественному порядку или даже лишь подрывают торговлю и вредят имуществу. Британская корона в Индии вряд ли нуждалась в услугах дакоитов для сопровождения своих ценностей так, как в них нуждались раджи Джайпура.

А люди, чья власть покоится на поколениях наследуемого богатства и которые не нуждаются (или более не нуждаются) в на-

коплении богатства посредством ножа или ружья, нанимают для ее защиты полицейских, а не гангстеров. Бароны-разбойники эпохи дикого капитализма в Америке обогащали Пинкертонов, а не вольных стрелков.

Только мелкий и слабый бизнес, рабочая или муниципальная политика *были вынуждены* иметь дело с бандитами, а не крупный бизнес. Более того, по мере экономического развития богатые и власть имущие все с большей вероятностью начинают видеть в бандитах угрозу собственности, которую необходимо устранить, а не еще один фактор среди прочих в борьбе за власть.

В таких обстоятельствах бандиты превращаются в вечных изгнанников, врагов каждого «порядочного» человека. Вероятно, на этой стадии возникает бандитская антимифология, где грабитель предстает противоположностью героя, как — если воспользоваться терминологией русской знати конца XVIII века — «животное в человеческом обличье», «готовый осквернить все святое, убивать, грабить, жечь, попирать закон Божий и государственный»[79] (кажется, впрочем, определенным, что по крайней мере в России, этот миф бандита, отрицающего все человеческое, возникает значительно позже, чем его же героическая мифологема народных песен и баллад).

Механизм интеграции бандитизма в нормальную политическую жизнь исчезает. Грабитель теперь принадлежит только одной части общества — бедной и притесняемой. Он может примкнуть к бунту крестьян против феодала, традиционного общества против современного, маргинальных или миноритарных сообществ против интеграции в более широкое политическое устройство либо к этому вечному противовесу «правильного», порядочного мира — «сбившемуся с пути», преступному миру. Но даже последний теперь дает гораздо меньше пространства, чтобы вести жизнь гор, лесов или большой дороги.

Бонни и Клайд, наследники Джесси Джеймса, были не типичными преступниками Америки 1930-х, а пережитком прошлого. Современный рыцарь удачи приближается к сельской жизни, только когда жарит барбекю у себя в загородном доме, приобретенном на доходы от городского криминала.

Глава 8

Бандиты и революции

Бич Божий и посланец Божий против ростовщиков и владельцев бесполезных богатств.

Самоописание Марко Шарра, неаполитанского разбойничьего главаря 1590-х гг.[80]

В переломную эпоху бандит оказывается перед выбором между преступником и революционером. Как мы уже видели, по самой природе социальный бандитизм в принципе бросает вызов сложившемуся порядку классового общества и распределению политических ролей, несмотря на готовность приспосабливаться к любым условиям.

В той мере, в которой социальный бандитизм является проявлением социального протеста, его можно рассматривать предтечей или потенциальным инкубатором восстаний.

В этом его резкое отличие от обычного уголовного мира, с которым мы уже имели возможности сравнения. Преступный мир является антиобществом, которое существует, инвертируя ценности «правильного» мира — по их собственному выражению, оно «испорченное», — но в остальном оно паразитирует на последнем. Мир революционеров тоже «правильный», за исключением, возможно, особых апокалиптических моментов, когда даже у антисоциальных уголовников случаются приступы патриотизма или революционной экзальтации.

Таким образом, для настоящего преступного мира революция представляет из себя лишь немногим большее, чем особо удачные обстоятельства для преступлений. Нет никаких свидетельств того, что процветающий преступный мир Парижа обеспечивал повстанцев или сочувствующих во времена французских революций XVIII–XIX веков, хотя в 1871 году проститутки были сплошь коммунарками; но классово они относились скорее к эксплуатируемым, чем к преступникам.

Криминальные банды, наводнившие Францию и Рейнскую область в 1790-х, не были революционным явлением, а лишь симптомами общественного разлада. Преступный мир входит в историю революций только в той мере, в какой *classes dangereuses* (*опасные* сообщества) перемешиваются с *classes laborieuses* (*трудовые* сообщества) в основном в центральных городских кварталах, а также потому, что власти часто обращаются с мятежниками и повстанцами как с преступниками, но принципиальное отличие несомненно.

С другой стороны, бандиты разделяют ценности и стремления крестьянства и, будучи преступниками и бунтарями, обычно чувствительны к его революционным импульсам. В обычное время они, как уже завоевавшие свою свободу, могут относиться с пренебрежением к инертной и пассивной массе, но в революционные эпохи эта пассивность исчезает. Крестьяне в большом количестве сами *становятся бандитами.*

Во время украинских волнений XVI–XVII веков они объявляли себя казаками. В 1860–1861 годах в Италии вокруг банд разбойников и по их подобию стали формироваться крестьянские банды: предводители бандитов обнаружили, что к ним массово стекаются солдаты из армии Бурбонов, дезертиры или уклоняющиеся от воинской службы, беглые заключенные, опасающиеся преследования за акты социального протеста во время гарибальдийского освобождения, крестьяне и горцы, алчущие свободы, мести, добычи или сочетания всего этого вместе.

Подобно обычным преступным бандам, эти формирования поначалу собираются близ населенных пунктов, откуда черпают новобранцев, создают себе базу неподалеку в горах или лесах и начинают свои операции, по типу деятельности неотличимые от обычных бандитов. Остается только различие в социальной среде. К непокорному меньшинству присоединялось мобилизовавшееся большинство. Вкратце можно процитировать голландского исследователя Индонезии: в такие времена «банда грабителей ассоциирует себя с другими группами и выражает себя в этом облике, в то время, как другие группы, начинавшие с более честных идеалов, приобретают бандитский характер»[81].

Австрийский чиновник на турецкой службе оставил прекрасное описание ранней стадии подобной крестьянской мобилизации

в Боснии. Поначалу это выглядело как необычайно продолжительный спор по поводу десятины. Затем крестьяне-христиане из Луковача и других деревень собрались, оставили свои дома и ушли в горы в Трусина Планине, в то время как крестьяне из Габелы и Равно перестали работать и собрались на сходку. Пока шли переговоры, отряд вооруженных христиан напал на караван из Мостара около Невесине, убив семерых мусульманских возчиков. После этого турки бросили переговоры. Тогда все крестьяне из Невесине взяли оружие, ушли в горы и зажгли сигнальные костры. Жители Габелы и Равно тоже вооружились. Было очевидно, что вот-вот разразятся большие волнения — те самые волнения, которые должны были положить начало балканским войнам 1870-х, отделить Боснию и Герцеговину от Оттоманской империи и повлечь многочисленные важные международные последствия, которых мы здесь не будем касаться[82]. Нас интересует характерное сочетание массовой мобилизации и роста бандитской активности в такого рода крестьянской революции.

Там, где присутствует сильная традиция гайдучества или мощные независимые сообщества вооруженных преступников, вольных и вооруженных налетчиков из крестьян, там бандитизм может вносить свои традиции и специфику в такие мятежи; в нем может распознаваться в некотором общем смысле реликт древней или зародыш будущей свободы. Так, в Сахаранпуре (Уттар-Прадеш, Индия) заметное меньшинство гуджар имело свою историю независимости или «волнений» и «беззакония» (если использовать терминологию британских чиновников). В 1813 году они были лишены права на владения в великой Ландауре. Одиннадцать лет спустя, в тяжелый для сельского населения период жизни, «отважные духом» в Сахаранпуре «вместо того, чтобы голодать, объединились вместе под предводительством вождя по имени Каллуа», местного гуджара, и занялись разбоем по обеим сторонам Ганга, грабя представителей *бания* (касты купцов и ростовщиков), путников и жителей Дехра-Дуна. «Мотивом дакоитов», сообщает справочник, «был, возможно, не столько грабеж как таковой, сколько стремление вернуться к прежнему беззаконному образу жизни, не обремененному ограничениями со стороны верховной власти. Короче говоря, появление вооруженных банд подразумевало скорее мятеж, чем просто отдельные нарушения закона»[83].

Каллуа, вступив в союз с могущественным талукдаром[1], контролировавшим сорок поселений и ряд недовольных представителей знати, вскоре расширил территорию мятежа: он атаковал полицейские посты, выкрал ценности из-под охраны двухсот полицейских и разграбил город Бхвагванпур. Вслед за тем он провозгласил себя Раджой Кальян Сингхом и по-царски разослал гонцов с требованием дани. Теперь у него под началом была тысяча людей, и он пообещал свергнуть иноземное иго. Его разгромили две сотни гуркхов, когда у него возникло «уверенное ощущение, что следует ожидать атаки изнутри форта». Мятеж продлился до следующего года («очередной тяжелый сезон... дал им приток новобранцев»), а затем сошел на нет.

Главарь разбойников, выступающий в роли претендента на трон или стремящийся легитимизировать революцию формальным принятием статуса правителя, не столь редкое явление. Вероятно, наиболее яркие примеры — это бандитские и казацкие предводители в России, где в великих разбойниках всегда были склонны видеть чудодейственных героев, защитников Святой Руси от татар либо возможное воплощение «мужицкого царя» — доброго царя, который знает народ и придет на смену злому царю бояр и дворянства. Великие крестьянские мятежники XVII–XVIII веков в Поволжье были казаками — Булавин, Болотников, Стенька Разин (ставший героем народной песни) и Емельян Пугачев, — а казаки были в те времена сообществами свободных крестьянских рейдеров. Мы видим, что подобно Радже Кальяну Сингху они рассылали императорские прокламации; подобно разбойникам Южной Италии 1860-х их люди убивали, жгли, грабили, уничтожали бумаги, означавшие рабство и подчинение, но не имели никакой программы, кроме уничтожения машины подавления.

Таким образом, превращение самого бандитизма в революционное движение, тем более способность возглавить его, было маловероятно.

Как мы видели (см. выше), материальные и идеологические ограничения таковы, что делают невозможными что-либо, кроме кратких операций с участием нескольких десятков человек,

[1] Талукдар — владелец наследных земель либо чиновник во главе *талуки* (округа) в некоторых частях Индии.

а внутренняя организация не предлагает модели, которую можно было бы расширить до масштабов целого общества. Даже казаки, постоянные и структурированные сообщества которых достигли довольно больших размеров (а мобилизация для своих кампаний у них была поставлена с размахом), выделяли из своей среды только лидеров, а не модели для больших крестьянских бунтов: они поднимали волнения не в качестве атаманов[1], а в качестве «мужицких царей». Бандиты тем самым скорее оказываются одним из многих аспектов в сложносоставной мобилизации и осознают свою подчиненную роль, кроме одной составляющей: они обеспечивают бойцов и командиров.

До революции бандитизм может служить, по словам историка индонезийских крестьянских волнений, «горнилом, из которого выходит как религиозное возрождение, так и мятеж»[84]. Когда вспыхивает пламя революции, бандиты могут слиться с большим милленаристским подъемом: «Банды *рампок* возникали из-под земли как грибы, быстро обрастали последователями из простонародья, одержимыми ожиданием Махди или наступления тысячелетия» (из описания яванского движения после поражения Японии в 1945 году).[85] Однако без ожидаемого Мессии, харизматического лидера, «просто короля» (либо претендента на корону) или, если продолжать наши индонезийские примеры, националистически настроенных интеллектуалов во главе с Сукарно, которые навязали себя этому движению, такие явления склонны идти на убыль, оставляя по себе в лучшем случае партизанские арьегардные действия.

Когда бандитизм и его попутчик, милленаристское ликование, достигают пика мобилизации, силы, которые превращают мятеж в государствообразующее или трансформирующее общество движение, часто, однако, не появляются. В традиционных обществах, привыкших к подъемам и падениям политических режимов, оставляющих незатронутыми базовую социальную структуру, знать, аристократия, даже чиновники и судьи могут усмотреть признаки наступающих перемен и посчитать, что пришло время для осмотрительной смены субъекта лояльности, что без сомнения закончится появлением новой власти, пока экспедиционные войска будут размышлять о переходе на другую сторону.

[1] Атаман — выборный казацкий командир.

Может возникнуть новая династия, сильная божественным предопределением, а мирное население вновь вернется к своим обычным занятиям, с надеждами, а в конечном итоге, без сомнения, с разочарованием. Численность бандитов уменьшится до минимума допустимой преступности, а пророки вернутся к своим проповедям. Реже случается появление лидера-мессии, который начинает строить очередной Новый Иерусалим. В современных ситуациях им на смену приходят революционные движения или организации. Последние, после своего триумфа, тоже могут обнаружить бандитских активистов, дрейфующими обратно в сторону маргинальной преступности, где они примкнут к последним защитникам старого образа жизни и прочим «контрреволюционерам» в их все более безнадежном сопротивлении.

В самом деле, каким образом бандиты уживаются с современными революционными движениями, столь далекими от той архаичной нравственности, в которой те живут? Эта проблема сравнительно несложна в случае движений национального освобождения, поскольку их устремления вполне могут быть выражены в понятных для архаичной политики терминах, сколь мало они бы ни имели между собой общего в действительности. Именно поэтому бандитизм без особых затруднений вписывается в такие движения: Джулиано с одинаковой легкостью превращался в молот безбожников-коммунистов и в сторонника сицилийского сепаратизма. Примитивные движения племенного или национального сопротивления завоеванию могут выстраивать характерное взаимодействие с бандитами-повстанцами, с сектантством популистского или милленаристского толка. На Кавказе, где сопротивление великого Шамиля русским завоевателям опиралось на развитие мюридизма среди местных мусульман, всегда подчеркивалось, что мюриды и другие подобные секты даже в начале XX века поддерживали знаменитого бандита-патриота Зелимхана (см. выше), обеспечивая ему помощь, неприкосновенность и идеологию. Последний всегда носил с собой портрет Шамиля. Взамен две новые секты, возникшие в этот период среди ингушей-горцев — одна из солдат священной войны, другая из мирных квиетистов, — обе с одинаковым экстазом (возможно, заимствуя его у бекташи) прославляли Зелимхана как святого[86].

Распознать конфликт между «своими» и «чужими», между колонизуемыми и колонизаторами не так уж сложно. Крестьян

венгерских равнин, ставших партизанами под началом знаменитого Шандора Рожи после поражения революции 1848–1849 годов, могли подвигнуть к мятежу некоторые действия победившей Австрийской империи, такие, как, например, введение воинской обязанности (нежелание идти в солдаты или там оставаться — частая причина, чтобы податься в преступники). Но тем не менее они оставались «национальными бандитами», пусть даже их понимание национализма и могло сильно отличаться от понимания политиков.

Знаменитый Мануэль Гарсия, «король кубинской глуши», который считался способным сдержать в одиночку десять тысяч солдат, послал деньги отцу кубинской независимости Хосе Марти, которые апостол революции отверг с обычной для большинства революционеров антипатией к преступникам. Гарсия был предательски убит в 1895 году, потому что (и так до сих пор считают на Кубе) был готов присоединиться к революции со своим отрядом.

Участие бандитов в национально-освободительном движении можно считать явлением достаточно распространенным. Чаще это происходит в ситуациях, когда они присоединяются к традиционным социальным организациям или к борцам с завоевателями, нежели когда их увлекают своими идеями учителя и журналисты.

В горах Греции, почти не оккупированных и никогда по сути никем не управлявшихся, клефты играли бóльшую роль в освободительном движении, чем это происходило в Болгарии, где переход известных гайдуков вроде Панайота Хитова под знамена национальной идеи становился заметной новостью. С другой стороны, греческие горцы пользовались значительной автономией благодаря появлению *арматолов*, которые формально служили турецким владыкам, а на практике делали то, что им казалось нужным. Сегодняшний капитан *арматолов* завтра становился вожаком клефтов и наоборот. Какую именно роль они играли в национальном освобождении, это уже другой вопрос.

Для бандитов сложнее интегрироваться в современные социально-политические революционные движения, у которых нет первичной цели противостояния оккупации. И не потому, что им сложно понять, хотя бы в принципе, призывы к свободе, равенству и братству, земле и воле, демократии и коммунизму, если они выражены на известном им языке. Напротив, это все — очевидные истины, а настоящее чудо случается, когда люди находят для это-

го подходящие слова. «Правда всякую ноздрю щекочет», — говорит Суровков, простой казак, слушая, как Исаак Бабель читает речь Ленина в «Правде». «Да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну». Проблема в том, что эти истины ассоциируются с городскими, образованными людьми, дворянами, находящимися в оппозиции к царю и Богу, то есть с силами обычно враждебными или непонятными простым крестьянам.

Но и такое соединение возможно. Великий Панчо Вилья был привлечен к мексиканской революции людьми Франсиско Мадеро и стал грозным генералом революционных сил. Вероятно, из всех профессиональных бандитов западного мира его революционная карьера стала одной из самых выдающихся. Эмиссары Мадеро довольно легко убедили Панчо, тем более что он был единственным из местных бандитов, кого они хотели привлечь, несмотря на видимое отсутствие у него интереса к политике. Мадеро был богатым образованным человеком. Если он был на стороне народа, это подтверждало его бескорыстие и чистоту цели. Панчо Вилья, сам из народа, человек чести, чье положение среди бандитов высоко оценивалось этим приглашением, как он мог сомневаться, предоставить ли ему своих людей в распоряжение революции?[87]

Менее известные бандиты также могли присоединяться к революции по сходным причинам. Не потому, что они понимали сложное устройство демократической, социалистической или даже анархистской теории (хотя последняя содержит не так много сложностей), но потому, что общие цели народа и его бедной части были явно справедливы, революционеры демонстрировали свою надежность бескорыстием, готовностью жертвовать собой и самоотверженностью — другими словами, *своим собственным поведением.*

Немало случаев политического обращения между бандитами и современными революционерами происходило во время военной службы или в тюрьмах, где они, весьма вероятно, могли встречаться в условиях равенства и взаимного доверия. Анналы современного сардинского бандитизма содержат некоторые примеры этого. Вот почему люди, ставшие предводителями бурбонистских разбойников в 1861 году, часто оказывались теми же, кто сошелся под знаменами Гарибальди, кто выглядел, говорил и действовал, как «настоящие народные освободители».

Следовательно, там, где идеологическое или личное совпадение с активистами современной революции возможно, и бандиты, и крестьяне-одиночки могут присоединяться к новаторским движениям, так же как они присоединялись бы к устаревшим.

Македонские бандиты становились бойцами движения комитаджи (Внутренняя македонская революционная организация, ВМРО) в начале XX века, а школьные учителя, которые их организовывали, в свою очередь, копировали традиционные шаблоны партизан-гайдуков в своей военной структуре. Так же как разбойники Бантама присоединялись к коммунистическому восстанию в 1926 году, так и яванское большинство последовало за светским национализмом Сукарно, или светским социализмом компартии, а китайские бандиты последовали за Мао Цзэдуном, который, в свою очередь, находился под сильным влиянием родной традиции народного сопротивления.

Как можно было спасти Китай? Ответ молодого Мао был: «Подражайте героям Лянь Шань» (то есть свободным партизанам-бандитам из романа «Речные заводи»)[88]. Более того, он их систематически рекрутировал. Разве они не были бойцами и по-своему общественно-сознательными бойцами? Разве «Красные бороды», грозная организация конокрадов, действовавшая в Маньчжурии в 1920-х, не запрещала нападать на женщин, стариков и детей; разве не обязывала она, напротив, нападать на всех чиновников и официальных лиц, но с условием, что «если у человека хорошая репутация, мы оставляем ему половину имущества; если он продажный, мы заберем все его имущество и вещи»? В 1929 году костяк Красной армии Мао, казалось, состоял из таких «деклассированных элементов» (по его собственной классификации «солдат, бандитов, воров, нищих и проституток»). Кто мог рискнуть присоединиться к этому бандитскому формированию в те дни, кроме таких же преступников? «Эти люди сражаются бесстрашнее прочих», — заметил Мао несколькими годами ранее. «Если их верно направить, они могут стать революционной силой». Смогли ли они? Они определенно привнесли в молодую Красную армию что-то от «духа бродячих повстанцев», хотя Мао надеялся, что «усиленное обучение» может избавить от этого.

Теперь мы знаем, что ситуация была более сложной[89]. Бандиты и революционеры относились друг к другу с уважением, как люди вне

закона перед лицом общих врагов, а большую часть времени бродячие отряды Красной армии и не имели возможности делать ничего сверх того, что ожидалось от классических социальных бандитов.

Однако обе стороны питали недоверие друг к другу. Бандиты были ненадежны. Компартия продолжала воспринимать Хэ Луна, бандитского предводителя, ставшего генералом, и его людей, как «бандитов», которые могут в любой момент уйти в сторону, пока он не вступил в партию. Отчасти это могло объясняться тем, что образ жизни преуспевающего бандитского вожака с трудом сочетался с пуританскими ожиданиями товарищей. И все же, хотя отдельные бандиты и даже их предводители могли переходить на другую сторону, в отличие от революционеров, институционализированный бандитизм легко может, как иметь дело с доминирующей властной структурой, так и отвергать ее. «Традионно (китайские бандиты) являли начальный этап в процессе, который мог вести, при нужных условиях, к образованию мятежного движения, чьей целью было обретение «Небесного мандата». Само по себе, впрочем, это не было мятежом, и уж точно революцией». Бандитизм и коммунизм пересеклись, но затем их пути разошлись.

Несомненно, политическая сознательность может сделать многое для изменения характера бандитов. В состав коммунистических крестьянских отрядов Колумбии входят бойцы (но определенно не более чем скромное меньшинство), пришедшие из бывших разбойничьих шаек «Виоленсии». «*Cuando bandoleaba*» («когда я был бандитом») — эту фразу можно постоянно услышать в беседах и воспоминаниях, которые занимают значительную часть времени в отряде. Фраза сама по себе обозначает понимание разницы между прошлым человека и его настоящим. Однако Мао был слишком оптимистичен. Отдельные бандиты могут легко интегрироваться в политические ячейки, но массово, по крайней мере в Колумбии, они плохо ассимилировались в левых партизанских группах.

Во всяком случае, оставаясь бандитами, они имели ограниченный военный потенциал, еще более ограниченный — политический, как это показывают бандитские войны в Южной Италии. Их идеальная боевая единица насчитывала менее 20 человек. Воеводы гайдуков, которые вели за собой большие группы, попадали в песни и в историю. В колумбийской «*Violencia*» после 1948 года крупные повстанческие отряды практически неизменно

состояли из коммунистов, а не из низовых повстанцев. Панайот Хитов сообщал, что воевода Илио, увидев 200–300 потенциальных новобранцев, сказал, что это слишком много для одной банды, лучше разделиться на несколько; он сам выбрал себе 15.

Большие силы, как в банде Лампиона, были поделены на несколько подотрядов либо представляли временную коалицию отдельных формирований. В этом был тактический смысл, но это означало базовую неспособность большинства мятежных вожаков снаряжать и снабжать большие формирования или организовать командование отрядами за пределами прямого контроля властного лидера. Более того, каждый вожак ревниво защищал собственную независимость. Даже самый верный лейтенант Лампиона, «светлый дьявол» Кориско, хотя и оставался сентиментально привязанным к старому вождю, поссорился с ним и забрал своих друзей и сторонников, чтобы сколотить свою банду. Различные эмиссары и агенты Бурбонов, которые пытались ввести строгую дисциплину и координацию в разбойничье движение 1860-х, отчаялись так же, как и все другие, кто пытался это сделать.

Политически, как мы уже могли видеть, бандиты были неспособны предложить крестьянам реальную альтернативу. Более того, их традиционно неоднозначное положение между властью и бедными, положение людей из народа, но презрительно относящихся к слабым и пассивным, положение силы, которая в обычных условиях действует в рамках существующей социально-политической структуры либо за этими рамками, но не против, само по себе ограничивало их революционный потенциал. Они могли мечтать о свободном братском обществе, но наиболее очевидное будущее успешного бандита-революционера заключалось в том, чтобы стать землевладельцем, уподобившись знати.

В конце жизни Панчо Вилья стал *hacendado*[I], обычная награда в Латинской Америке для несостоявшегося *caudillo*[II], хотя без сомнений его воспитание и манеры делали его популярнее креольских аристократов с нежной кожей. Да и в любом случае герои-

---

[I] Hacendado (*исп.*) — крупный землевладелец, владелец поместья (гасиенды).

[II] Caudillo (*исп.*) — военный командир, сосредоточивший в руках политическую власть; печально известная фигура в истории Латинской Америки.

ческая и недисциплинированная разбойничья жизнь не сильно подготавливала людей ни к жесткому, уравнительному миру бойцов-революционеров, ни к легальной жизни после революции.

Лишь небольшое число бандитов-повстанцев, судя по всему, играло хоть какую-то роль в Балканских странах, освобождению которых они способствовали. Чаще боевые формирования в новом государстве лишь обеспечивали себе героический блеск (с постоянно растущим комическим оттенком) воспоминаниями о свободной жизни в горах до революции и борьбе за национальное возрождение, сами находясь в распоряжении соперничающих политических шишек либо подрабатывая на стороне мелкими похищениями и грабежами. Греция XIX века, выросшая на мистике клефтов, превратилась в гигантскую добычу, которую рвали и делили все, кому не лень. Поэты-романтики, фольклористы и грекофилы создали горным разбойникам европейскую славу. Эдмон Абу в 1850-е был больше шокирован низкопробным настоящим «*Roi des Montagnes*» (Королем гор), чем высокопарным возвеличиванием славы клефтов.

Вклад бандитов в современные революции оказывается, таким образом, неоднозначным, сомнительным и не таким большим. В этом была их трагедия. Будучи бандитами, они могли в лучшем случае подобно Моисею узреть землю обетованную. Но не достичь ее.

Алжирская война за освобождение началась, что характерно, в диких горах Ореса — традиционно разбойничья территория, — но независимость была в конце концов завоевана совсем не бандитской Армией национального освобождения. Китайская Красная армия очень скоро перестала быть похожа на бандитское формирование.

У мексиканской революции было две основных крестьянских составляющих: типичное бандитское движение Панчо Вильи на севере и в основном не бандитского толка аграрный протест Сапаты в штате Морелос. С военной точки зрения Вилья играл неизмеримо бóльшую роль на национальной сцене, но это не изменило ни Мексику, ни даже его собственный северо-запад. Движение Сапаты было исключительно региональным, его лидер был убит в 1919 году, его военная мощь была не очень велика. Однако это движение привнесло элемент аграрной реформы в мексиканскую

революцию. Бандиты дали потенциального *caudillo* и легенду — не худшую — о единственном мексиканском лидере, который попытался вторгнуться на землю *gringos* в том столетии[1]. Крестьянское движение штата Морелос дало социальную революцию: одну из трех, заслуживших упоминания в истории Латинской Америки.

---

[1] Наиболее драматичное свидетельство об этом происходит из села Сан-Хосе-де-Грасия в высокогорье штата Мичоакан, которое — подобно многим мексиканским селам — выразило свои народные чаяния объединившись под слоганом «Христос-Царь *против* революции» (часть движения *Cristero*, хорошо известного благодаря роману Грэма Грина «Сила и слава»). Прекрасный историк этого места указывает, что там, естественно, «ненавидели великих деятелей Революции» за двумя исключениями: президент Карденас (1934–1940) за то, что раздал землю и прекратил преследование религии, и Панчо Вилья. «Они стали народными кумирами» (Luis Gonsalez. Pueblo en vilo. Mexico DF, 1968. P. 251). Еще в 1971 году в универсальном магазине очень похожего городка в том же районе, места, судя по всему, не слишком приверженного литературе, встречались «Мемуары Панчо Вильи».

Глава 9

Экспроприаторы

Наконец мы должны обратиться к явлению, которое можно назвать «квазибандитизмом», то есть к тем революционерам, которые сами не принадлежат к миру Робин Гуда, но в том или ином виде заимствуют его методы, а возможно, и части его мифа. Причины этого могут крыться в идеологии, подобной идеализации бандита анархистами-бакунинцами: «Настоящий и единственный революционер, — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и не сословный...»[1] А могут и быть отражением незрелости революционеров, которые, несмотря на новизну собственных идеологий, сами укоренены в традициях прошлого, как андалусские партизаны-анархисты после Гражданской войны 1936–1939 годов, вполне естественным образом пошедшие по стопам старых «благородных разбойников», или как немецкие ремесленники начала XIX века, которые столь же естественно прозвали свое тайное революционное братство Союзом отверженных (впоследствии он развился в Коммунистическую лигу Карла Маркса). Коммунист и христианин портной Вейтлинг на каком-то этапе действительно планировал развязать революционную войну силами армии отверженных. Причины могут быть и формальными, как у повстанческих движений, которые вынуждены следовать, по сути, той же тактике, что и социальные бандиты, или на авантюрной периферии нелегальных революционных движений, где действуют контрабандисты, террористы, фальшивомонетчики, шпионы и «экспроприаторы».

---

[1] Цитата из выпущенной в 1869 году брошюры «Постановка революционного вопроса», написанной М. Бакуниным. — *Прим. ред.*

В этой главе мы в основном будем иметь дело с «экспроприациями», давно принятым и тактичным наименованием для грабежей, нацеленных на снабжение революционеров средствами. С некоторыми наблюдениями за современными явлениями такого же рода можно ознакомиться в Послесловии.

Истории этой тактики еще только предстоит быть написанной. Вероятно, она возникла в той точке, где пересекаются либертарность и авторитаризм (санкюлоты и якобинцы) современных революционных движений, и материализовалась с помощью Бланки из идей Бакунина. Место возникновения этой тактики практически точно локализуется в анархо-террористической среде царской России 1860–1870-х годов. Бомба — стандартное средство русских революционеров-экспроприаторов начала XX века — указывает на их террористическое происхождение (в западной традиции грабители банков, любой политической окраски вплоть до нейтральной, всегда предпочитали огнестрельное оружие).

Сам термин «экспроприация» был не столько эвфемизмом для грабежей, сколько отражением характерного анархистского смешения между смутой и восстанием, между преступлением и революцией, которое относилось не только к грабителям, как повстанцам подлинно либертарного духа, но и к таким простым действиям, как мародерство — шаг к стихийной экспроприации буржуазии со стороны притесняемого класса. Нам не стоит упрекать серьезных анархистов за излишества безумной прослойки деклассированных интеллектуалов, развлекавшейся подобным образом. Даже среди них «экспроприация» постепенно устоялась в качестве формального термина, означающего кражу денег ради нужного дела, обычно — что значимо — у банков, символизирующих безличную власть капитала.

Как это ни парадоксально, «экспроприация» вызвала скандал в международном революционном движении в основном не из-за местных и точечных акций анархистов и народников, а благодаря деятельности большевиков во время революции 1905 года и после нее; а конкретно, знаменитое тифлисское ограбление 1907 года, принесшее более 200 000 рублей дохода, но несчастливым образом в крупных и легко отслеживаемых купюрах, что и вызвало проблемы с полицией при их обмене на Западе у верных делу

эмигрантов М.М. Литвинова (впоследствии наркома иностранных дел СССР) и Л.Б. Красина (впоследствии советского наркома внешней торговли).

Это дало хороший повод для нападок на Ленина, и без того всегда подозреваемого прочими русскими социал-демократами в бланкистских устремлениях, равно как и позднее для нападок на Сталина, который, будучи заметным большевиком в Закавказье, был серьезно в это дело вовлечен. Эти обвинения были несправедливы.

Ленинские большевики отличались от других социал-демократов только тем, что *a priori* не осуждали никаких форм революционной деятельности, включая «экспроприации»; или скорее тем, что не были подвержены лицемерию, которое официально осуждало те операции, которые, как нам теперь известно, практикуют не только революционеры-нелегалы, но и правительства всех мастей, когда считают это нужным.

Ленин приложил массу усилий, чтобы отделить «экспроприации» от обычных преступлений и неорганизованного мародерства с помощью разработанной аргументации: их следовало проводить только под прямым контролем партии, в рамках социалистической идеологии и подготовки, чтобы не скатиться в преступность и «проституцию»; они могли быть обращены исключительно против буржуазной государственной собственности и т. д.

Сталин же, хотя без сомнений проявлял свою обычную бесчеловечность и в этих операциях, просто претворял в жизнь партийные указания. В самом деле, «экспроприации» в бурлящем и огнеопасном Закавказье не отличались ни размерами — рекорд был, вероятно, поставлен в московском грабеже 1906 года, когда было украдено 875 000 рублей, — ни своей частотой.

Преимущественно эта форма бескорыстного грабежа была распространена в Латвии, где большевистские газеты публично признавали некоторые доходы от экспроприаций (подобно тому, как социалистические журналы обычно перечисляют сделанные им пожертвования).

Таким образом, история большевистских экспроприаций — не лучший способ постигнуть природу такой квазибандитской деятельности. Совершенно очевидно, что ограбления,

совершенные официальными марксистами, в основном привлекали определенный воинственный тип людей, которые хотя и часто стремились к работе с высоким статусом, но счастливее и спокойнее чувствовали себя с оружием в руках.

Покойный Камо (Семен Аржакович Тер-Петросян, 1882–1922), необычайно смелый и решительный армянский террорист, связавший свою судьбу с большевиками, был блестящим примером такого «политического стрелка». Он был главным организатором тифлисской экспроприации, хотя вопросом принципа для него было не тратить больше 50 копеек в день на собственные нужды.

После Гражданской войны он получил возможность удовлетворить свою долго лелеемую амбицию — глубоко погрузиться в марксистскую теорию, но после некоторого перерыва вновь почувствовал тягу к острым переживаниям непосредственной активной деятельности. Вероятно, ему повезло, что он рано погиб (попал под грузовой автомобиль). Ни его возраст, ни атмосфера Советского Союза в последующие годы не соответствовали его типу воинственного старого большевика.

Лучший способ предъявить читателям, не слишком знакомым с этими идейными стрелками, явление «экспроприации» — это набросать портрет одного из них. Я выбрал для этого историю Франсиско Сабатé Льопарта (1913–1960)[90], из группы повстанцев-анархистов, которые устраивали набеги в Каталонию с территории Франции после Второй мировой войны. Среди членов группы кроме братьев Сабатé были Хосе Луис Фасериас, официант из китайского квартала Барселоны (вероятно, самый умный и умелый из всех); Рамон Капдевила по кличке Паленая рожа, боксер (вероятно, самый смелый, и проживший дольше всех — до 1963 года); молодой и вечно голодный Хосе Педрес Педреро «Трагапанес»; Виктор Эспайяргас, чьи пацифистские принципы позволяли ему принимать участие в грабежах банков только безоружным; а также Хайме Парес «Эль Абиссинио», фабричный рабочий Хосе Лопес Пенедо, Хулио Родригес «Эль Кубано», Пако Мартинес, Сантьяго Амир Груана «Эль Шериф», Педро Адровер Фонт «Эль Яйо» и другие, чьи имена остались только в полицейских архивах и памяти их семей и некоторых бойцов-анархистов. Почти все они погибли или оказались в тюрьме.

Барселона, сжатая холмами, колючая и страстная столица пролетарской борьбы, стала их маки[1], хотя и о горах они знали достаточно, чтобы перемещаться туда и обратно. Захваченные такси и угнанные машины были их транспортом, автобусные остановки или футбольные ворота — местами их встреч. Их снаряжением стали дождевики, столь любимые боевиками от Дублина до Средиземноморья, и продуктовые сумки или портфели, чтобы носить в них оружие и бомбы. Ими двигала «идея» анархизма: эта абсолютно бескомпромиссная и безумная мечта, которую разделяли многие, но лишь немногие попытались воплотить в жизнь, за исключением испанцев, ценой полного поражения и обескровленности собственного рабочего движения.

В их мире людьми движет чистая мораль, диктуемая совестью; там нет нищеты, нет правительства, тюрем, полицейских, нет никакого принуждения и дисциплины, кроме собственного внутреннего света; никаких социальных уз, кроме братства и любви; нет лжи, нет собственности, нет бюрократии. В этом мире люди чисты как Сабатé, который никогда не пил и не курил (если не считать, конечно, немного вина за трапезой), и питался просто, как пастух, даже после ограбления банка.

В этом мире разум и просвещение выводят людей из тьмы. Ничто не отделяет нас от этого идеала, кроме сил дьявола, буржуазии, фашистов, сталинистов, даже анархистов-отступников, сил, которые должны быть устранены с дороги, но, конечно, избегая дьявольских ловушек дисциплины и бюрократии. В этом мире моралисты одновременно и стрелки, как потому, что пули разят врагов, так и потому, что они являются средством самовыражения для тех, кто не может писать листовки или великие речи, но мечтает об этом. Пропаганда действием заменяет словесную.

Франсиско Сабатé Льопарт — «Кико» — в возрасте между тринадцатью и восемнадцатью годами открыл для себя «идею»

---

[1] Макѝ (фр. *Maquis*) — часть движения Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны, партизанские отряды, действовавшие преимущественно в сельской местности Бретани и Южной Франции, часто были близки к компартии. Название происходит от французского наименования местности, в которой первоначально действовали партизаны, — возвышенностей на юго-востоке Франции, покрытых труднопроходимым вечнозеленым кустарником. — *Прим. ред.*

вместе со своим молодым поколением рабочего класса, в период великого нравственного пробуждения, последовавшего за провозглашением Испанской республики в 1931 году. Он родился в семье аполитичного муниципального сторожа в Оспиталет-де-Льобрегат, недалеко от Барселоны, и, когда повзрослел, стал водопроводчиком. Кроме амбициозного Хуана, который видел себя священником, другие три брата стали левыми вслед за старшим Пепе, слесарем. Франсиско был не по книжной части, хотя позднее он прилагал большие усилия для чтения, готовясь к дискуссиям о Руссо, Герберте Спенсере и Бакунине, как и подобает хорошему анархисту; особенно он гордился своими двумя дочерьми, которые учились в тулузском лицее и читали «Express» и «France-Observateur». Однако он не был полуграмотным, и обвинения в этом со стороны Франко его больно задевали.

В семнадцать он присоединился к молодежной либертарной организации и постигал прекрасную истину на революционных собраниях, где юные борцы за свободу встречались для просвещения и вдохновения; потому что быть политически сознательным в Барселоне в ту пору, означало стать анархистом почти с той же вероятностью, как в Аберавоне[1] — вступить в партию лейбористов. Но никому не суждено избегнуть судьбы. Сабатé самой природой был предназначен для своей последующей карьеры. Подобно тому как некоторые женщины полностью реализуются только в постели, так и некоторые мужчины — только в действии. Сабатé со своей масивной челюстью, густыми бровями, выглядевший ниже ростом, чем есть на самом деле, из-за коренастой фигуры — хотя он был на деле менее мускулист, — был одним из таких мужчин. Он едва мог спокойно усидеть в кресле, не говоря уж о кафе, где, как хороший стрелок, он автоматически выбирал скрытое место с обзором двери и неподалеку от заднего выхода. Как только он оказывался с пистолетом в руках на углу улицы, он тут же расслаблялся и даже, в некотором смысле, начинал сиять. «Muy

[1] Город и избирательный округ в Великобритании (Южный Уэльс), традиционно поддерживающий на выборах лейбористов начиная с 1922 года, когда депутатом палаты общин стал будущий премьер-министр страны (и первый лейборист на этой должности) Джеймс Рамсей Макдональд (1866–1937). — *Прим. ред.*

sereno[1]», как его описывали товарищи в такие моменты, уверенный в своих рефлексах и инстинктах, чутье и наитии, которые можно совершенствовать с опытом, но невозможно создать, если их нет; и прежде всего уверенный в собственной смелости и удаче. Никто бы не протянул почти двадцать два года такой жизни вне закона, с перерывами только на тюремное заключение, без выдающихся талантов.

Похоже, что с самого начала он оказался в составе *grupos especificos*, боевых групп молодых революционеров, которые вступали в стычки с полицией, убивали реакционеров, освобождали заключенных, грабили банки, чтобы финансировать то или иное малое издание, поскольку нелюбовь анархистов к организации любого рода мешала наладить регулярный сбор средств. Его деятельность носила местный характер к 1936 году, когда он уже обзавелся гражданской женой — служанкой из Валенсии, той же классической простоты, что и он сам, Франсиско все еще оставался рядовым членом революционного комитета в Оспиталете. На фронт он отправился в составе колонны *Los Aguiluchos* («Молодых орлов») под командованием центуриона Гарсии Оливера, который, согласно званию, отвечал за центурию — сотню солдат. Поскольку его таланты к традиционному руководству были невелики, Сабатé быстро оказался в оружейниках, где его знакомство с оружием и бомбами как раз пригодилось. Кроме склонности к боевым действиям, у него была природная любовь к работе с механизмами, он был из тех, кто может собрать мотоцикл из металлолома. Так что офицером он так и не стал.

Сабатé продолжал сражаться в составе своей колонны (впоследствии присоединенной к 28-й дивизии Аскасо под командованием Грегорио Ховера) вплоть до Теруэльского сражения. Он не участвовал в деятельности специальных партизанских армейских отрядов, что указывает на то, что его таланты в этой области не были оценены по достоинству. Во время самого сражения он дезертировал. Официальным объяснением стала его ссора с коммунистами, что вполне вероятно. Он вернулся в Барселону к жизни в подполье и по практическим причинам уже не покидал его до конца жизни.

---

[1] Muy sereno (*исп.*) — очень спокойный. — *Прим. перев.*

Его первой акцией в Барселоне против «сталинско-буржуазной коалиции» стало освобождение товарища, раненного в стычке с полицией (республиканской); вторая акция — по приказу анархистского Молодежного комитета обороны — освобождение четверых арестованных после майского восстания 1937 года, которых перевозили между двумя центрами тогдашней вселенной боевиков-анархистов — из тюрьмы Ла Модело в крепость Монтжуик. Впоследствии он сам оказался в Монтжуике и пытался бежать оттуда. Когда он сидел в другой тюрьме, в Вике, его жена переправила ему пистолет, и с оружием он смог оттуда вырваться.

Теперь он был уже заметной фигурой. Товарищи придумали ему прикрытие, отправив его на фронт с другой анархистской бригадой, 26-й дивизией Дуррути, с которой он и оставался до конца. Стоит, вероятно, добавить для обычного читателя, далекого от истории анархизма, что приверженность Сабатé борьбе за дело Республики и его ненависть к Франко оставались неизменными, несмотря на все эти перипетии.

Война закончилась. После обычного срока во французском концлагере[1], Сабатé опять вернулся к работе слесарем близ Ангулема (его брат Пепе, офицер, был взят в плен и находился в тюрьме в Валенсии; младшему, Маноло, едва минуло 12 лет). Здесь его и настигла немецкая оккупация, которая вскоре опять вынудила его вернуться в подполье. Но в отличие от многих испанских беженцев, его сопротивленческая деятельность была довольно маргинальной. Его страстью была Испания и только Испания. К 1942 году он уже был на пиренейской границе, нездоровый, но с нетерпением рвущийся к боевым действиям. С этого момента он начал действовать в одиночку, проводя рекогносцировку границы. Для начала он объехал горные фермы в качестве бродячего слесаря, мастера на все руки. Затем, на некоторое время, он присоединился к группе контрабандистов. И, наконец, он обзавелся двумя базами, обосновавшись на одной из них (Маз Казноб Лубетт) в качестве мелкого фермера — неподалеку от деревни Кутуж, от которой Испания находилась в пределах видимости. Граница между Ля-Прест и Сере стала отныне «его районом», он знал там все

[1] Пересекшие границу с Францией республиканцы, как правило, временно оказывались во французских концентрационных лагерях. — *Прим. ред.*

тропы, людей, у него располагались там базы и склады. Это в конце концов и погубило его, потому что ограничивало район поисков для полиции с точностью до нескольких километров. А с другой стороны, это было неизбежно. Эффективные организации могут рассылать курьеров или боевиков повсюду от Ируна до Портбоу, а горстка небольших ремесленных артелей, каковой, по сути, является анархистское подполье, состоит из местных жителей, для которых все покрыто тьмой за пределами небольшой досконально разведанной ими самими области. Сабате знал свой сектор горного хребта, он знал дороги в Барселону; более того — он знал и саму Барселону. Это было его «хозяйством», именно там и ни в каком другом месте Испании он и действовал.

Судя по всему, до весны 1945 года он не начинал партизанских действий, хотя несколько раз выступал проводником и, возможно, связным. В мае 45-го он отбил товарища у полиции в центре Барселоны, что заставило громко прозвучать его имя.

А затем произошли события, сделавшие его буквально героем. Один из его партизанских отрядов привлек внимание гражданской гвардии в Баньоласе, бывшим местом рассредоточения группы после спуска с гор. Полицейские выхватили оружие — а Сабате был крайне щепетилен в этом отношении и никогда не стрелял, пока противная сторона не выказывала своего намерения вступить в перестрелку, — один полицейский тут же был убит, другой ранен. Сабате спокойно миновал всю неразбериху и крики, неспешными шагами удаляясь в сторону Барселоны. Ко времени его прибытия, полиция уже была в курсе дела, поэтому он направился прямиком в засаду, устроенную ему в обычном месте встречи товарищей, в молочном баре на улице Святой Терезы. Чутье Сабате на засады было невероятным. Для него было очевидным, что четверо рабочих, оживленно беседующих и медленно идущих ему навстречу, были полицейскими. Он продолжал неспешно и спокойно шагать им навстречу. На расстоянии в 30 футов он достал свой пистолет-пулемет и прицелился.

Война между полицией и террористами — это война нервов в той же мере, что и оружия. Кто больше испугается, тот проиграет. История Сабате после 1945 года сложилась именно таким уникальным образом благодаря его моральному превосходству над полицейскими, которое он обеспечивал сознательным движением

навстречу агентам, всегда, когда это было возможно. Четверо в штатском занервничали, бросились в укрытие, и открыли беспорядочный огонь ему вслед. Он сам не выстрелил ни разу.

Признаком его относительной неопытности было то, что он отправился после этого домой, чтобы договориться о встрече со своим братом Пепе, только что освободившимся из валенсийской тюрьмы. Дом уже находился под наблюдением, но Сабатé зашел туда лишь на минуту, оставил записку и немедленно ушел через задний выход, скрылся в лесу, где и заночевал. Это, похоже, оказалось для полиции неожиданностью. Когда Сабатé вернулся на следующее утро, он почувствовал засаду, но было уже поздно: дорогу перекрыли явно полицейские фургоны. Он, прогуливаясь, миновал их, не зная, что в одном из фургонов находились два анархиста, которым вменялось опознать его в лицо. Они этого не сделали, а Сабатé неспешно удалился прочь от опасности.

Герою для имиджа необходима храбрость, и он доказал ее наличие. Нужны также хитрость и прозорливость, а также удача, или в мифологических терминах — неуязвимость. Конечно, человек чуящий засады и избегающий их, — подтверждает и эти свои качества. Но ему нужны и победы. А этого у него на счету не было — не считая убитых полицейских — и ни по каким рациональным меркам появиться и не могли. Однако у бедных, притесняемых и неграмотных людей, чей кругозор ограничен своим кварталом или в лучшем случае городом, другие стандарты: сама способность преступника выжить в столкновении с концентрированными силами богачей, их тюремщиков и полицейских, является достаточной победой. Именно потому никто в Барселоне (городе, в котором выросло больше людей, способных оценить хорошего мятежника, чем в любом другом) не сомневался, что Сабатé обладает этой способностью. И менее всего в этом сомневался он сам.

С 1944-го до начала 1950-х годов продолжались систематические попытки свержения Франко путем частных набегов через французскую границу, но самые серьезные действия предпринимали партизаны. Это не очень широко известно, хотя попытки были довольно серьезными. Официальные коммунистические источники приводят список из 5371 партизанской атаки в период между 1944 и 1949 годами, их пик (1317 случаев) пришелся на 1947 год, в то время, как франкистские источники оценивают по-

тери партизан в 400 человек в самом многочисленном маки в Южном Арагоне.[91]

Хотя партизанские отряды действовали практически на всей горной территории, особенно на севере и в Южном Арагоне, каталонские партизаны, в отличие от других почти целиком состоявшие из анархистов, не играли большой военной роли. Они были слишком плохо организованы, недисциплинированны, а их цели определялись участниками и были, как правило, узкими и местными. Среди таких анархистских групп и действовал теперь Сабатé.

Соображения высокой политики, стратегии и тактики мало задевали людей его типа. Для них такие вещи всегда были призрачны и нереальны, пока не оказывались яркими символами безнравственности. Их мир был абстрактным, в котором свободные люди с оружием стояли напротив полицейских и тюремщиков, олицетворяя этим человеческую долю. Между ними пресмыкались массы нерешительных рабочих, которые однажды — возможно, завтра? — воодушевленные этим примером нравственности и героизма поднимутся волшебной мощной силой.

Сабатé и его друзья находили политическое обоснование для своих подвигов. Он закладывал бомбы в консульства некоторых латиноамериканских стран в знак протеста против голосования в ООН. Он раскидывал пропагандистские листовки с помощью самодельной базуки над футбольным стадионом и захватывал бары, чтобы проигрывать антифранкистские речи на магнитофонах. Он грабил банки ради общего дела. И все же те, кто его знал, единодушны в своей оценке: по-настоящему важным для Сабатé был образец действия, а не его воздействие. Им двигали неудержимое желание отправиться с налетами в Испанию и вечное противостояние боевиков и полиции: тяжелая участь товарищей в заключении и ненависть к полицейским.

Сторонний человек может задаться вопросом, почему ни одна из боевых групп ни разу не предприняла серьезной попытки убить Франко или хотя бы генерал-капитана Каталонии, а ограничившись только синьором Кинтелой из барселонской полиции. Но Кинтела был главой «Социальной бригады», поговаривали, что он собственноручно пытает людей. Относительно анархистской неорганизованности, крайне типично то, что, когда Сабатé запланировал убийство Кинтелы, вскоре обнаружилось,

что другая группа активистов независимо занималась подготовкой к тому же.

Начиная с 1945 года героические подвиги и демонстрации стали умножаться. Официальные данные (не слишком достоверные, впрочем) приписывают Сабатé пять нападений в 1947-м, одно в 1948-м, и не менее 15 в 1949-м — славном и гибельном для барселонских партизан. В январе 49-го братья Сабатé взялись за сбор средств для защиты нескольких заключенных, списки которых доставил из тюрьмы некий Баллестер (вместе с подсадным полицейским). В феврале Пепе Сабатé застрелил полицейского, который устроил братьям засаду во время их встречи у входа в кинотеатр «Кондаль» на Паралело. Вскоре после этого полиция застала врасплох во сне Пепе и Хосе Лопеса Пенедо в Ла-Торрасе, пригороде, населенном мигрантами с юга, исполнителями фламенко; прямо в доме завязалась перестрелка. Лопес погиб, Пепе серьезно раненный и почти раздетый, смог скрыться, переплыл реку Льобрегат, отобрал одежду у прохожего и прошел пять миль пешком до убежища, где его нашел брат, который организовал ему врача и переправил во Францию.

В марте Сабатé и группа молодых арагонцев «Los Manos» объединились для убийства Кинтелы, но из-за ошибки они смогли убить только пару более мелких фалангистов (кто-то озвучил угрозу нападения на полицейское управление, что напугало полицейских, но и предупредило их). В мае Сабатé и Фасериас вместе заложили бомбы в консульства Бразилии, Перу и Боливии; Сабатé спокойно разобрал одну из них уже после запуска часового механизма, чтобы сделать детонацию мгновенной. Остальные бомбы он размещал с помощью простой удочки. К осени, однако, полиция взяла ситуацию под контроль. В октябре Пепе попал в засаду, едва вырвавшись из предыдущей, уложив по дороге полицейского. В этом месяце много бойцов встретили свою смерть.

В декабре ушел третий из братьев Сабатé. Юный Маноло никогда не был идейным. Он хотел стать тореро и сбежал из дому в отрочестве, чтобы поехать на *novilladas*[1] в Андалузию, но приключения братьев манили не меньше. Они не принимали его в свои дела, желая, чтобы он учился и самосовершенствовался, но фами-

[1] Novilladas (*исп.*) — бои для молодых быков и начинающих тореадоров.

лия привела его в группу доблестного Рамона Капдевилы, бывшего боксера, который ушел с ринга, став борцом за идею, и сделался знатным специалистом по взрывчатке. Один из немногих партизан, чья деятельность имела некоторый смысл, Капдевила совершал рейды по провинциям, взрывая столбы электропередачи и тому подобное. Неопытный Маноло заблудился в холмах после столкновения с полицией и был арестован. Фамилия Сабатé гарантировала казнь. Он был расстрелян в 1950 году, не оставив после себя ничего, кроме французских часов.

Однако к этому времени Франсиско Сабатé уже находился не в Испании из-за проблем, связанных главным образом с французской полицией, которые удерживали его вдалеке от дома почти шесть лет. Они начались в 1948 году, когда жандармы остановили его в очередной поездке к границе на нанятой машине (Сабатé всегда предпочитал транспорт, который оставлял его руки свободными). Он потерял голову, сорвался и пустился бежать. Жандармы обнаружили его пистолет, а позднее изрядное количество инструментов, взрывчатки, радио и т. п. на его ферме в Кутуже. В ноябре ему присудили заочно три года тюрьмы и 50 000 франков штрафа. Ему посоветовали подать апелляцию, что в июне 1949-го дало свой результат: срок уменьшился до безобидных двух месяцев, позднее увеличившихся до полугода, и пяти лет *interdiction de séjour*[1]. Из-за этого поездки на границу становились для него незаконными даже с французской стороны, и ему приходилось проживать под полицейским присмотром вдали от Пиренеев.

На деле он провел в тюрьме целый год, поскольку французская полиция связала его с другим, гораздо более серьезным делом, налетом на фабрику в Рон-Пуленке в мае 1948-го, в результате которого погиб сторож. Довольно характерным для той шаткой ирреальности, в которой пребывали активисты (само существование которых зависело от благосклонной невнимательности французских властей), было то, что они занимались экспроприацией собственности буржуазии ради благого дела с одинаковой готовностью — что в Лионе, что в Барселоне. Один лишь осторожный Фасериас избегал этого и грабил банки если не в Испании, то в Италии. Столь же типичным было то, что они

---

[1] Interdiction de séjour *(фр.)* — запрет на проживание. — *Прим. перев.*

оставляли за собой след шириной в взлетную полосу. Благодаря нескольким очень хорошим адвокатам обвинения против Сабатé так и не получили подтверждения, хотя полиция в какой-то момент потеряла терпение и, по сути, выбила из него признание за несколько дней пыток; так заявляли адвокаты, не без некоторых оснований. После четырех прекращений дела оно все еще оставалось открытым вплоть до его смерти. Несмотря на это, вдобавок к изрядным треволнениям это дело стоило ему еще почти двух лет за решеткой.

Когда Сабатé удалось ненадолго вынырнуть из этих бурных волн, он обнаружил, что политическая ситуация стала совсем другой. В начале 1950-х все партии отказались от партизанских действий в пользу более реалистичных тактик. Боевики остались в меньшинстве.

Это был серьезный удар. Хотя Сабатé был неспособен подчиняться инструкциям, с которыми сам был не согласен, в целом он сохранял лояльность. Но без одобрения товарищей он мучился почти физически и вплоть до самой смерти постоянно предпринимал безуспешные попытки его вернуть. Предложение перебраться в Латинскую Америку никак не смягчало этого удара. Как если бы Отелло предложили вместо армии консульский пост в Париже. Так что к апрелю 1955 года он вернулся в Барселону. В начале 56-го они вместе с Фасериасом провели общую операцию — вскоре их дороги опять разошлись, — и несколько месяцев он провел в городе, издавая небольшой журнал «El Combate», а также однажды взял Центральный банк, с помощью муляжа бомбы, в одиночку. В ноябре он вновь вернулся в Барселону для ограбления текстильной фирмы «Cubiertos y Tejados», добыча тогда составила почти миллион песет.

Тогда французская полиция по наводке испанцев вновь предприняла шаги против Сабатé. Он лишился своей базы в Ля-Прест и опять попал за решетку. Он вышел из тюрьмы в мае 1958 года, но следующие несколько месяцев был нездоров после неудачной операции язвы. Фасериас за это время был убит. Тогда Сабатé стал планировать свой последний налет.

К тому моменту он был совсем один, за исключением нескольких друзей. Организация своим молчаливым неодобрением скорее играла на руку фашистам и буржуазии, для которых он был про-

стым бандитом. Даже друзья крайне осторожно убеждали его, что следующий рейд будет самоубийственным. Он уже заметно постарел, на его стороне оставалась лишь репутация героя и страстная уверенность, которая придавала поразительную силу убеждения этому, обычно не очень внятно высказывающемуся человеку. Вооруженный лишь этим, он посетил ряд эмигрантских собраний во Франции. Пренебрегая полицейскими запретами, этот коренастый мужчина с набитым портфелем, избегающий мест в углу, *не* был бандитом. Дело в Испании не могло быть оставлено без защитников. Кто знает, может быть, ему предстояло стать испанским Фиделем Кастро? Неужели они не понимают?

Он собрал немного денег и уговорил внушительное число людей, в большинстве своем неопытных, взять в руки оружие, и сам отправился с первой группой, в которую вошли Антонио Миракле, банковский клерк, относительно недавно вышедший из подполья, двое юношей, едва достигших 20 лет, Рохелио Мадригал Торрес и Мартин Руис, и ничем другим не известный женатый мужчина лет тридцати, некий Конеса (все из Лиона и Клермон-Феррана). Остальные даже не успели отправиться в путь.

Сабатé повидался с семьей в конце 1959-го, но не говорил им о своих планах. И затем отправился навстречу тому, что всем, кроме, видимо, его самого, было понятно — приведет его к смерти. По крайней мере можно сказать, что он умер так, как того, вероятно, желал. Полиция перехватила группу в пяти милях от границы, несомненно, по имеющейся у них наводке. Участники группы вырвались из засады, но два дня спустя были окружены на отдельно стоящей ферме, осада длилась двенадцать часов. После захода солнца Сабатé вызвал переполох среди скота взрывом гранаты и под шумок ползком покинул ферму, убив по дороге своего последнего полицейского, но и сам был ранен. Все его товарищи были убиты.

Еще через два дня, 6 января, он остановил поезд 6.20 из Жироны в Барселону на небольшой станции Форнельс и приказал машинисту ехать вперед без остановок. Это невозможно было исполнить, потому что в Массанет-Массанас все поезда переключались на электрическую тягу. К этому времени у Сабатé началось воспаление от раны в ступне, он хромал, его бил озноб, он держался на морфине из своей походной аптечки. Остальные

две раны — царапина за ухом и сквозное ранение в плечо — были менее серьезными. Он позавтракал запасами машинистов.

В Массанете он спрятался в почтовом вагоне, а затем забрался на новый электрический локомотив и пробрался в кабину машиниста, где захватил новую команду. Они также объяснили ему, что доехать прямиком до Барселоны, не оглядываясь на расписание, без рисков не получится. Думаю, что в этот момент он уже понимал, что смерть неизбежна. Незадолго до городка Сан-Селони Сабатé велел замедлить ход и спрыгнул с поезда.

На всем протяжении линии полиция уже была наготове. Он спросил у проезжего возчика вина и выпил его большими глотками, от лихорадки у него начиналась жажда. Затем спросил у какой-то старухи, как пройти к доктору, и она указала ему на другой конец города. Судя по всему, он ошибся домом, ища докторского слугу — в доме врача никого не было, — и разбудил некоего Франсиско Беренгера, который отнесся к изможденной грязной фигуре в спецовке с пулеметом в руках с явным подозрением и отказался его пустить. Завязалась борьба. С двух сторон перекрестка, на углу которого сцепились мужчины, появилось двое полицейских. Сабатé укусил Беренгера за руку, чтобы дотянуться до своего пистолета — до пулемета он уже дотянуться не мог, — и успел ранить еще одного полицейского перед тем, как упал на углу калле Сан-Хосе и калле Сан-Текла. «Если бы он не был ранен, — говорили в Сан Селони, — его бы не взяли; полиция боялась».

Лучшей эпитафией были слова одного из друзей Сабатé, каменщика из Перпиньяна, которые он произнес перед Венерой Майоля, украшающей центр этого цивилизованного города. «Когда мы были молоды и когда родилась Республика, мы были кавалерами и не чуждыми духовности (*caballeresco pero espiritual*). Мы повзрослели, а Сабатé — нет. Он был природным герильеро. Да, он был одним из тех дон-кихотов, которые родятся в Испании». Это говорилось, и возможно справедливо, безо всякой иронии. Но, что еще лучше всякой формальной эпитафии, Сабатé получил финальную награду героя-бандита, защитника угнетенных — отказ поверить в его смерть. «Говорят, — сказал таксист через несколько месяцев после гибели Сабатé, — привезли отца и сестру, чтобы опознать тело, и они посмотрели и сказали: “Нет, это не он, это кто-то другой”». Эти слухи не подкреплялись факта-

ми, но по духу были верными, потому что он был из тех людей, что заслуживают легенды. Более того: чьей единственной наградой может быть героическая легенда.

По любым реальным и рациональным меркам его карьера была пустой тратой жизни, он ничего в жизни не достиг, и даже добытые грабежом средства все уходили на стремительно дорожающее поддержание подполья — фальшивые документы, оружие, взятки и т. п., — так что на пропаганду почти ничего не оставалось. Сабате никогда и не производил впечатление человека, добившегося чего-то, кроме как смертного приговора всем, кто был с ним как-то связан.

Теоретическое обоснование повстанческой борьбы, заключающееся в том, что одна только воля к революции может создать ей объективные предпосылки, к нему никак не относилось, поскольку то, что делал Сабате со товарищи не могло, вероятно, перерасти во что-то более широкое. У их более простой и эпической позиции тоже было мало шансов на успех: поскольку люди все по природе своей хорошие, храбрые и чистые, один только пример веры и смелости, повторенный достаточно часто, должен заставить их устыдиться собственной косности. Их собственная позиция могла только рождать легенды.

Простодушие и чистота Сабате прекрасно вписывались в легенду. Он жил и умер в бедности, жена знаменитого грабителя банков до конца своей жизни работала служанкой. Он грабил банки не просто ради денег, а как тореро сражается с быками, чтобы показать свою отвагу. Поэтому ему не подходило открытие хитрого Фасериаса, который обнаружил, что самый надежный способ собрать денежный урожай — провести рейд в определенного сорта отеле в 2 часа ночи, будучи уверенным, что солидные буржуа, застигнутые в постели с разнообразными девушками, с готовностью отдадут свои деньги и ни слова не скажут полиции[1]. Забирать деньги, не рискуя, было не по-мужски — Сабате всегда предпочитал брать банки с меньшим числом людей, чем требовалось, именно по этой причине — и наоборот, забирать деньги с риском для

---

[1] На самом деле испанский дух смог нарушить даже этот план: один богатый клиент, вероятно стремясь впечатлить свою юную подругу, оказал сопротивление и был застрелен.

своей жизни, было, в некотором моральном смысле, платой за них. Идти всегда навстречу полицейским было не только хорошей психологической тактикой, но и геройством. Он, несомненно, мог бы заставить машинистов поезда ехать напрямик, даже в ущерб своим планам; но он нравственно не мог рисковать жизнями людей, которые не были его противниками.

Чтобы стать легендой в глазах всех, человек должен иметь четкие очертания. У трагического героя не должно быть ничего лишнего, он должен стать силуэтом на горизонте, в позе, выражающей его суть: как Дон Кихот против мельниц или стрелки мифического Запада, одиночки на залитых палящим полуденным солнцем пустых улицах. Так стоял и Франсиско Сабатé Льопарт. И есть справедливость в том, что о нем сохраняется именно такая память, наряду с другими героями.

Глава 10

Бандит как символ

До сих пор мы рассматривали реальность социальных бандитов, а также легенду и миф о них главным образом как источник информации об этой реальности или о тех социальных ролях, которые, как предполагается, они будут играть (и соответственно часто играют), о ценностях, которые они предположительно представляют, об их идеальных — а следовательно, часто и реальных — отношениях с людьми. Но подобные легенды ходят не только среди знакомых с каждым конкретным бандитом или какими-то бандитами, а гораздо в более широких и общих кругах. Бандит — не только человек, он еще и символ. В заключение нашего исследования бандитизма мы должны, следовательно, рассмотреть и эти более глубинные аспекты нашего предмета изучения. Они интересны, по крайней мере, в двух отношениях.

Судьба бандитской легенды среди самих крестьян — это особая история, поскольку колоссальный личный престиж знаменитых преступников не спасает их славу от быстрого забвения. Как и в ряде других отношений, Робин Гуд, хотя во многом и является квинтэссенцией бандитской легенды, также достаточно нетипичен. Никакой бесспорный реальный прототип Робин Гуда так и не был идентифицирован, в то время как все прочие бандиты-герои, которых мне удалось проверить, пусть и мифологизировались, однако отслеживались вплоть до конкретных персонажей в конкретной местности.

Если Робин Гуд существовал, он действовал до четырнадцатого века, когда цикл повествований о нем впервые появляется в письменной форме. Таким образом, легенда о нем живет в людях уже как минимум шесть столетий. Все остальные герои, упомянутые в этой книге (за исключением героев китайских романов), относятся к более позднему времени. Стенька Разин, вожак

взбунтовавшейся русской бедноты, действовал в 1670-х годах, но множество аналогичных фигур, легенды о которых существовали в XIX веке (когда их стали систематически собирать), датируются уже XVIII веком, который оказался золотым веком героев-бандитов: Яношик в Словакии, Диего Коррьентес в Андалусии, Мандрен во Франции, Роб Рой в Шотландии, заодно и преступники, принятые в пантеон социальных бандитов, такие, как Дик Турпин, Картуш и Шиндерханнес.

Даже на Балканах, где зафиксированные истории о гайдуках и клефтах датируются XV веком, самые ранние герои-клефты, сохранившие свой статус в греческих балладах, — это Христос Милионис (1740-е) и Буковалас, который жил еще позже. Невероятно, чтобы такие люди ранее не становились героями песен и историй. Великие разбойники-повстанцы вроде Марко Шарра конца XVI века должны были иметь свои легенды, и, по крайней мере, один из великих бандитов этого чрезвычайно бурного периода — Серралонга в Каталонии — стал народным героем, чья память дожила до XIX века, но этот случай, возможно, не типичен.

Отчего же большинство из них забыто? Возможно, в народной культуре Западной Европы произошли какие-то изменения, которые объясняют расцвет мифов о бандитах в XVIII веке, но не слишком приложимы к, казалось бы, сходной хронологии Восточной Европы. Можно предположить, что память в сугубо устной культуре — а те, кто увековечивал славу бандитов-героев, были неграмотны — относительно коротка. За границами определенного поколенческого отрезка память о конкретных людях сливается с коллективным образом легендарных героев прошлого, образом человека с некоторым мифом и ритуальным символизмом, так что герой, которому случилось продержаться за пределами этого отрезка, как Робин Гуду, уже не подлежит замене в контексте реальной истории. Вероятно, это правда, но это не вся правда.

Известно, что устная память может длиться более 10 или 12 поколений. Карло Леви записал, что в 1930-х годах крестьяне в Базиликате живо помнили о двух исторических эпизодах, хотя неотчетливо воспринимали их «своими»: время разбойников семьдесят лет назад и время великих императоров династии Гогенштауфен семью веками ранее. Печальная истина, возможно,

заключается в том, что герои далекого прошлого выживают в памяти благодаря тому, что являются героями не одних только крестьян. У великих императоров есть чиновники, хронисты и поэты, после них остаются огромные каменные памятники, и представляют они не обитателей забытых богом горных уголков (каждый из которых похож на множество других таких же уголков), а государства, империи и целые народы. Так что Скандерберг и Марко Кралевич переживают Средние века благодаря албанскому и сербскому эпосам, а пастух Михат и Юхаш Андраш (Андраш-пастух), против которого были бессильны ружья, а ядра, которые метали пандуры, он останавливал одной рукой[92], со временем исчезают. Великий бандит сильнее, известнее, его имя живет дольше, чем имя обычного крестьянина, но он столь же смертен. Его бессмертие обусловлено только тем, что всегда найдутся другие Михат или Андраш, которые пойдут с ружьем в холмы или в широкие степи. Вторая особенность нам понятнее.

Бандиты, как правило, выходцы из крестьянского сословия. Если утверждения, сделанные в этой книге, принимаются, значит, бандитов нельзя понять, если не поместить их в контекст крестьянского общества, каковое, можно это уверенно утверждать, столь же далеко от большинства читателей, сколь и древний Египет, и настолько же прочно похоронено историей, как и каменный век. И однако, любопытная и удивительная особенность бандитского *мифа* заключается в том, что его привлекательность всегда была гораздо шире его естественной среды.

Немецкие литературоведы изобрели специальную литературную категорию, *Räuberromantik* («бандитский, разбойничий романтизм»), которая произвела на свет большой корпус *Räuberromane* («бандитских романов, романов о разбойниках»), и далеко не только немецких, ни один из которых не предназначался при этом для чтения бандитами, разбойниками или крестьянами. Целиком выдуманный герой-разбойник, Ринальдо Ринальдини или Хоакин Мурьета, — типичный побочный продукт такого процесса.

Еще примечательнее, что эти герои пережили современную индустриальную революцию в культуре и появились, в своей оригинальной форме, в телесериалах о Робине Гуде и его веселых товарищах, а в более современной версии — в роли героев вестерна

или гангстерского кино — в масмедиа городской культуры конца XX века.

Вполне естественно, что официальная культура тех стран, где социальный бандитизм носит массовый характер, должна его как-то отражать. Сервантес помещал в свои произведения знаменитых испанских разбойников-грабителей конца XVI века так же естественно, как Вальтер Скотт писал о Роб Рое. Венгерские, румынские, чехословацкие и турецкие писатели посвящали романы настоящим или выдуманным бандитам-героям, в то время как — легкий поворот — мексиканские авторы-новаторы стремятся развенчать миф и низвести героев до масштабов обычных уголовников в «Los Bandidos del Rio Frio»[1]. В таких странах как бандиты, так и миф о них являются важными обстоятельствами жизни, которые невозможно не принимать во внимание.

Существование бандитского мифа объяснимо и в сильно урбанизированных странах, где до сих пор остаются необжитые пространства, наподобие буша в Австралии или Запада в Америке, которые напоминают о (порой) воображаемом героическом прошлом и являются определенным *локусом* для ностальгии, символом древних и утраченных доблестей, духовная туземная территория, куда можно хотя бы в воображении, как Гекльберри Финн, сбежать от невыносимого бремени цивилизации. Там до сих пор скачет, как на картинах австралийца Сиднея Нолана, изгой и бушрейнджер Нед Келли — призрачная фигура, трагическая, грозная и хрупкая, в самодельных доспехах, пересекающая туда и обратно выжженное солнцем австралийское захолустье в ожидании смерти.

Тем не менее в литературном или народном культурном образе бандита есть нечто большее, чем просто документальная фиксация современной жизни в отсталых обществах или тяга к утраченной невинности и приключениям — в развитых. Если мы удалим весь местный колорит и социальную структуру бандитизма, то остается стойкая эмоция и неизменная роль героев. Остается свобода, героизм и мечта о справедливости.

---

[1] Мне приходят в голову роман Жигмонда Морица о Шандоре Роже, «Гайдуки» Панаита Истрати, «Тощий Мемед» Яшара Кемаля и в первую очередь замечательный «Никола Шугай, разбойник» чеха Ивана Ольбрахта.

Миф о Робине Гуде подчеркивает первую и третью часть этого идеала. На телеэкраны из средневекового леса выходят дружба свободных и равных людей, неуязвимых перед лицом власти, защита слабых, угнетенных и обманутых. Классическая версия бандитского мифа в высокой культуре стоит на тех же элементах. Шиллеровские разбойники поют о свободной жизни в лесах, а их предводитель, благородный Карл Моор, сдается властям, чтобы вознаграждение за его поимку могло спасти бедняка.

Вестерны и гангстерские фильмы строятся на второй части триады — на героизме, даже если он противостоит рамкам традиционной морали, согласно которой героизм — качество хороших или в крайнем случае морально противоречивых бандитов-разбойников. Но в героизме никому не отказано, бандит всегда отважен, что в действии, что оказавшись в роли жертвы. Он погибает с вызовом и достойно, и несчетное число мальчишек из трущоб и пригородов, не имеющих ничего, кроме обычного, но драгоценного дара силы и смелости, могут с ним самоидентифицироваться. В обществе, где люди живут в состоянии подчинения, подобно винтикам в машинах из металла или движущимся частям в человеческих механизмах, бандит живет и умирает выпрямившись.

Как мы уже видели, не всякий легендарный бандит способен сохранить свое место в истории, чтобы питать мечты урбанистической безысходности. В действительности почти ни один великий исторический бандит не может перенести переход из аграрного общества в индустриальное, кроме тех, кто сам жил в это время либо уже был забальзамирован в материале, устойчивом к перемещениям во времени, — в литературе.

Сегодня среди небоскребов Сан-Паулу печатают брошюрки о Лампионе, потому что каждый из миллионов приехавших в первом поколении с северо-востока Бразилии знает о великом кангасейру, убитом в 1938 году, то есть еще на непосредственной памяти всех тех, кто старше 62 лет[1]. И наоборот, англичане и американцы XX века знают о Робине Гуде, «который отбирал у богатых и раздавал бедным», а китайцы XX века знают о «Сун Цзяне, Благодатном дожде… который помогал нуждающимся и был равнодушен

---

[1] Написано в 2000 году, на сегодняшний момент это уже на 18 лет больше. — *Прим. ред.*

к серебру», потому что письменность и книгопечатание перевели местную устную традицию в национальную и устойчивую форму. Можно сказать, что интеллектуалы обеспечили выживание бандитов.

В некотором смысле они продолжают это делать и сегодня. Переоткрытие социальных бандитов в наше время — работа интеллектуалов: писателей, кинематографистов, даже историков. Данная книга тоже часть этого переоткрытия, в ней я попытался объяснить феномен социального бандитизма, но и представить его героев: Яношика, Шандора Рожу, Довбуша, Дончо Ватаха, Диего Коррьентеса, Янку Жиану, Музолино, Джулиано, Буковаласа, пастуха Михата, скотника Андраша, Сантанона, Серралонгу и Гарсию, бесконечную шеренгу воинов, быстрых как олени, благородных как соколы, хитрых как лисы. За редкими исключениями, никто не знал их уже за тридцать миль от места их рождения, но они были так же важны для своего народа, как наполеоны или бисмарки, даже наверняка важнее, чем настоящий Наполеон и Бисмарк. Неважным людям не посвящают несколько сотен песен, как, например, Яношику. Это песни гордости и тоски:

Закукуй, моя кукушка,
Во зеленом гае;
Не видать уже в дубраве
Николы Шугая... [93] [1]

Бандиты ведь принадлежат воспоминаниям, в отличие от официальной книжной истории. Они часть той истории, которая состоит не столько из перечня событий и их героев, сколько из символизма тех факторов, что определяют жизнь бедняков (управляемых в теории, а на деле неуправляемых): из справедливых монархов и людей, несущих народу справедливость. Именно поэтому легенда о бандитах по сей день имеет власть над нами. Предоставим последнее слово Ивану Ольбрахту, который написал об этом лучше всех.

---

[1] Подстрочный перевод: Кукушка пропела / На ветке сухой / Убили Шугая / Жить стало трудней. — *Прим. перев.*

«У человека неутолимое стремление к справедливости. В душе своей он восстает против общественного порядка, который отказывает ему в ней, и против того мира, в котором живет, какой бы он ни был, он обвиняет общественный уклад или всю материальную вселенную в несправедливости. Он наполнен странным, упорным желанием помнить, выдумывать вещи, события и менять их; и вдобавок он несет внутри себя желание иметь то, что ему нельзя иметь — хотя бы даже в форме волшебной сказки. Это вероятно основа героических сказаний всех времен, всех верований, всех народов и всех сословий»[94].

Включая и нас. Именно поэтому Робин Гуд и наш герой тоже, и останется таковым.

Приложение А

Женщины и бандитизм

Общеизвестно, что бандиты склонны к распутству, а их статус и собственная гордость подразумевают демонстрацию мужественности, так что в большинстве случаев женщины среди бандитов играют роль любовниц. Несоциальные бандиты могут удовлетворять свои сексуальные потребности посредством насилия, что в некоторых обстоятельствах гарантирует молчание жертвы («Они сказали, что делают с нами все это, чтобы нам было слишком стыдно об этом рассказывать и чтобы показать, на что они способны», — сообщила колумбийская девушка партизанам, к которым потом примкнула)[95]. Однако, как уже давно отметил Макиавелли, связываться с женщинами — это верный путь к потере популярности, и потому бандитам, рассчитывающим на народную поддержку или хотя бы молчаливую солидарность, необходимо сдерживать свои инстинкты. В банде Лампиона насилие было под запретом («за исключением важных причин», то есть предположительно в наказание, для возмездия или устрашения). Политизированные крестьяне-партизаны применяли это правило со всей строгостью: «Мы объясняем правило: партизан, который насилует женщин, любую женщину, идет под трибунал». Но и среди бандитов, и среди партизан, «если это происходит без принуждения, если женщина соглашается, то нет проблем»[96].

Как правило, бандиты навещают своих любовниц, что способствует многоженству. Но известны и редкие случаи, когда девушки делят тяготы бродячей жизни с мужчинами. Банда Лампиона, судя по всему, была единственной такого рода на северо-востоке Бразилии. Даже в том случае, когда планировалась особенно долгая и опасная экспедиция, женщин предпочитали не брать с собой, часто вопреки их желаниям, поскольку их присутствие мешало бы обычным любовным приклю-

чениям мужчины «из уважения к постоянной партнерше»[97]. Женщины внутри банды обычно не выходили за пределы принятой гендерной роли. Они не носили оружия, как правило, не принимали участия в боевых действиях. Мария Бонита, жена Лампиона, вышивала, шила, готовила пищу, пела, танцевала, воспитывала детей прямо среди зарослей… Ей было достаточно того, что она вместе с мужем. Когда требовалось, она бралась за оружие, но в основном занимала позицию наблюдателя, упрашивая мужа не рисковать понапрасну[98]. Но например, Дада́, жена его лейтенанта Кориско, была ближе к леди Макбет и вполне могла сама командовать бандой. Совместное проживание даже незначительного числа женщин в мужской банде влечет за собой очевидные неудобства. Их присуствие минимизирует страх перед грозным предводителем, равно как и дисциплинированную мораль в партизанских группах с высокой политической сознательностью. Вероятно, это главная причина, по которой бандиты неохотно берут с собой женщин и стараются не связываться с пленницами. Ничто так не подрывает солидарность, как сексуальное соперничество.

Вторая и менее разрекламированная роль женщин в бандитском мире — это роль сторонниц и связных с внешним миром. В основном, следует полагать, они помогают своим соплеменникам, мужьям и любовникам. Вряд ли что-то еще можно к этому добавить.

Третья роль — это сами бандитки. Очень немногие женщины становились активными бойцами, но в балладах балканских гайдуков встречается достаточно упоминаний (см. Главу 6)[99], чтобы предположить присутствие такого явления хотя бы в некоторых частях света.

В перуанском департаменте Пьюра, к примеру, известно о нескольких женщинах в период 1917–1937 годов, которые были предводительницами банд: в частности, Роса Пальма из Чулуканас, которую, как говорили, уважал даже прославленный Фройлан Алама, самый известный бандитский главарь того времени; лесбиянка Роса Руириас из Морропона, в особенности воинственной общины; и Барбара Рамос из Упалас-Гасиенда[100], сестра двух бандитов и подруга третьего[I]. Эти девушки были известны как отличные

[I] Об их судьбе ничего не известно, их нет в списке бандитов, арестованных или убитых в этой местности (B.R. Merino Arana, op. cit.), хотя в списке встречаются другие женщины.

наездницы, меткие стрелки, а также славились отменной смелостью. За исключением пола, вряд ли они хоть чем-то отличались от любого другого бандита.

История аргентинского разбойничества знает одну прекрасную *montonera*[1] и грабительницу с большой дороги, Мартину Чапанай (1799–1860-е), индейского происхождения, которая сражалась бок о бок с мужем и продолжала это делать после его смерти[101].

В великом китайском романе «Речные заводи» встречаются героини, но в Китае, как и повсюду, было очень немного женщин — рядовых бандитов. Учитывая практику бинтования ног, которая затрудняла для женщин свободное пешее передвижение, это совсем не удивительно (женщины встречались чаще в районах верхового разбойничества и там, где ноги не бинтовались — как, например, среди этнической группы хакка на юге Китая). Удивительнее то, что значительное число женщин фиксируется среди бандитских вожаков начиная с тайпинского восстания (поразительная Сю Сяньянь, у которой была устойчивая репутация «убивающей богатых и помогающей бедным», стала героиней многочисленных поэм). Как правило, они, по-видимому, подавались в бандиты, чтобы отомстить за смерть мужей или, реже, других родственников, что может объяснять редкое упоминание их имен в записях.

Месть двигала и женщинами в Андалусии, где они не только упоминались в документах как *serranas*[102] (горянки), например Торральба из Лусены в XIX веке (носившая мужское платье) и Мария Маркес Сафра (Ла Маримачо), но и занимали особое место в бандитских легендах. Типичная горянка обращалась к разбою вообще, а к мести мужчинам в частности по той причине, что была «обесчещена» (то есть лишена девственности).

Такая активная реакция на лишение чести несомненно встречается среди женщин еще реже, чем среди мужчин, но защитники более воинственных видов женской эмансипации могут быть удовлетворены тем фактом, что даже в традиционных обществах это встречалось. Однако, как и многие другие аспекты бандитизма, этот предмет нуждается в дальнейшем исследовании. В про-

---

[1] Montonera (*исп.*) — партизанка. — *Прим. перев.*

цессе возмездия большинство «обесчещенных» женщин в обществах, пестующих бандитизм, видимо, находило себе защитников среди сильного пола. Защита «чести», то есть по большому счету сексуальной «чести» женщин, является, вероятно, наиболее важным мотивом, который толкал мужчин к разбойничеству в классических бандитских регионах Средиземноморья и заокеанской Латинской Америки. Бандит в этом случае сочетал в себе функции одновременно и Статуи Командора и Дон Жуана, но и в этом, как и во многих других отношениях, он разделял ценности своего социального космоса.

Приложение Б

Бандитская традиция

I

Как известно каждому кино- и телезрителю, бандитов любой природы всегда окружает облако мифов и вымыслов. Как нам добраться до истины? Как нам проследить образование мифов?

Большинство бандитов, вокруг которых образовывались такие мифы, уже давно на том свете: Робин Гуд (если он был) жил в XIII веке, хотя в Европе более распространены герои, чьи прототипы жили в XVI–XVIII веках, возможно, в связи с распространением книгопечатания, которое дало главный импульс для сохранения памяти о бандитах прошлого — дешевые популярные листки или брошюры-памфлеты.

Одни рассказчики сменяются другими, места и публика варьируются от поколения к поколению, что доносит до нас очень мало документальной информации о бандитах, но тем не менее сохраняет память о них самих. Если о них не сохранилось упоминаний в государственных и судебных архивах, мы вряд ли найдем какие-то иные прямые свидетельства современников. Подобные сведения оставляли иностранные путешественники, захваченные в плен бандитами, особенно на юго-востоке Европы начиная с XIX века; а также журналисты, спешащие сделать интервью с падкими на это юными бандитами не ранее начала XX века. Но даже эти свидетельства нельзя принимать за чистую монету, хотя бы потому, что сторонние люди редко разбирались в особенностях местных ситуаций, даже если понимали местные, зачастую сложные диалекты (в редких случаях говорили на них) и могли противостоять требованиям жадных до сенсаций редакторов. В то время, когда я это пишу, похищение иностранцев — для выкупа или для того, чтобы выторговать у правительства какие-то уступки, — стало в ходу в Йемене. Насколько я могу судить, у освобожденных

пленников удается выудить очень мало сколько-нибудь значимой информации.

Разумеется, традиция искажает наши знания даже о тех социальных бандитах XX века — а таких имеется некоторое количество, — о ком мы располагаем точными свидетельствами из надежных источников. И они сами, и те, кто повествует об их приключениях, с детства знакомы с ролью «хорошего бандита» в пьесе из жизни бедных крестьян, и сами на нее пробуются. «*Memorias de Pancho Villa*» («Воспоминания Панчо Вильи») М.Л. Гусмана не только частично основываются на словах самого Вильи; их автор был одновременно великим мексиканским литератором (по оценке биографа Вильи), а «также чрезвычайно серьезным ученым»[103]. И тем не менее начало славной деятельности Вильи на страницах Гусмана предстает гораздо более близким к стереотипам Робин Гуда, чем, по всей видимости, оно было в действительности.

Это еще более справедливо в отношении сицилийского бандита Джулиано, который жил и умер в самый расцвет жанров фоторепортажа и интервью со знаменитостями во всяких экзотических местах. Но он хорошо знал, что от него ожидается («Как мог Джулиано, любящий бедных и ненавидящий богатых, когда-либо обратиться против рабочих масс?» — вопрошал он сразу после массового убийства), и журналисты и писатели тоже это знали. Даже его враги коммунисты сожалели о его гибели (в точности предсказав ее), которая была «недостойна подлинного сына трудового народа Сицилии», «любимого народом и окруженного симпатией, восхищением, уважением и боязнью»[104]. Его репутация среди современников была такова, как мне рассказывал старый вояка из той местности, что бойню[1] в Портелла-делла Джинестра в 1947 году никто и предположительно не мог приписывать Джулиано.

Положительные и давно сложившиеся мифы есть и у бандитов-мстителей, и гайдуков, чья репутация не может строиться на симпатии к беднякам и перераспределении богатств в социуме,

---

[1] Расстрел первомайской демонстрации, предположительно организованный Джулиано. Погибло 11 человек (из них двое детей), 60 было ранено. Инцидент произошел после победы блока социалистов и коммунистов на выборах в Сицилийскую региональную ассамблею. — *Прим. ред.*

но которым достаточно просто не быть официальными представителями закона или правительства (многие из сельских хулиганов, в общем, типов довольно неприятных для окружающих, приобретали свою славу, только лишь выступая против армии или полиции). Это стереотип о воинской чести, или, в терминологии Голливуда, героя-ковбоя.

Как мы уже могли убедиться, многие бандиты происходят из воинственных общин сельских рейдеров, чьи боевые качества признаются правителями, поэтому это все более чем привычно для юношей такого происхождения. Честь и бесчестье, как нам объясняют антропологи, доминировали в системе ценностей Средиземноморья — классического региона западного разбойничьего мифа. Это усиливалось дополнительно феодальными ценностями в местах их присутствия. Героические разбойники были «благородными» (или видели себя таковыми) — статус, который, по меньшей мере в теории, подразумевал нравственные стандарты, достойные уважения и восхищения. Эта ассоциация сохранилась и в наших явным образом неаристократических обществах («джентльменское поведение», «благородный жест» или *noblesse oblige*). «Благородство» в этом значении связывает наиболее брутальных и вооруженных злодеев с самыми идеализированными из робин гудов, и в некоторых странах их в самом деле называют «благородными разбойниками» (*edel Räuber*) по этой причине. Тот факт, что некоторые бандитские предводители, отмеченные в мифологии, происходили из знатных семейств (хотя сам термин *Raubritter* — барон-разбойник — появился в литературе впервые у либеральных историков XIX века), только усиливал эту связь.

Так что первое явление благородных бандитов в высокой культуре (в литературе испанского Золотого века) подчеркивало их социальный статус, предположительно приравненный к благородному сословию, наравне с их щедростью, уж не говоря о чувстве меры в отношении насилия и отсутствии враждебности к крестьянству (как в «Антонио Рока» Лопе де Веги, повествующем о каталонском разбойнике 1540-х годов). Французский мемуарист Брантом (1540–1614), отразивший по меньшей мере одно суждение современника, описывает его в своих «Галантных дамах», как одного «из самых храбрых, воинственных

и тонких людей, известный рубака, а притом столь любезный, что и среди испанцев мудрено отыскать подобного». В «Дон Кихоте» Сервантеса бандит Рокагинарда (действовавший в начале XVII века) даже представлен стоящим на стороне слабых и бедных[105] (при этом они оба были на самом деле крестьянского происхождения).

Документальные свидетельства о так называемых каталонских барочных бандитах представляют их весьма далекими от робин гудов. Способность великих испанских писателей произвести мифологическую версию благородных разбойников в то самое время, когда случился пик эпидемии реального бандитизма (XVI–XVII), — подтверждает их оторванность от реальности? Или же это просто свидетельство огромного социального и психологического потенциала разбойника как идеального типажа? Вопрос остается открытым. В любом случае предположение о том, что Сервантес, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и другие светочи кастильской культуры несут ответственность за позднейший расцвет образа разбойников в народной традиции, не выдерживает никакой критики. В задачи литературы не входит преувеличение социального аспекта бандитизма.

Наиболее глубокая работа по истории оригинальной робингудовской традиции усматривает ее даже среди тех разбойников, кому не присущи претензии на социальность[106]. Она подчеркивает «сложность в определении преступления, особенно в зыбкости границы между преступлением и политикой, насилием в политической жизни» в Англии XIV–XV веков. «Преступность, местное соперничество, сила местного правительства, влияние на авторитет короны, все переплеталось. Становилось проще представить какую-то правду и на стороне преступника. Так он получал поддержку со стороны общества».

Так же и в ценностной системе голливудских вестернов: скорый суд, насильственная компенсация ущерба («суд Фолвиллов», как это прозвали в честь семейства, подвизавшегося на почве разбойничества) относились к положительным вещам. Поэт Уильям Ленгленд (чей «Петр-Пахарь» (ок. 1377) по совпадению содержит первое указание на баллады о Робине Гуде) полагал, что Господь наделяет людей способностями для борьбы с Антихристом, в том числе и такими:

«Некоторым дал уменье возвращать несправедливо отобранное.
Показал им, как вновь обрести это силой своих рук.
Вырвать из рук обманщиков по праву Фолвилла».

Таким образом, общественное мнение того времени (в том числе и за пределами того непосредственного сообщества, которому принадлежал бандит) было готово к тому, чтобы сосредотачиваться на социально одобряемых действиях известного бандита, если только, конечно, его репутация антисоциального элемента не была столь ужасной, что делала его врагом всего честного люда. В таком случае традицией предусматривалась альтернатива, которая также удовлетворяла аппетит публики к цветистой драме в форме ни в чем не стесняющихся брошюр с исповедями знаменитых нечестивцев, где в подробностях излагался их путь от первоначального нарушения заповедей. Дальше по нарастающей шли жуткие преступные деяния, а заканчивалось все мольбой о Божьем и человеческом прощении у подножья виселицы.

Конечно, чем дальше находилась публика от знаменитого разбойника — во времени или в пространстве, — тем легче ей было сосредоточиться на его положительных сторонах и не замечать отрицательных. Несмотря на это, процесс избирательной идеализации может быть прослежен вплоть до первого поколения.

В обществах с традицией бандитизма, если разбойник, среди прочих жертв, нападал на кого-то, осуждаемого общественным мнением, он немедленно обретал полноценную славу Робина Гуда — включая непроницаемую маскировку, неуязвимость, пленение через предательство и все прочее (см. Главу 4). Так что сержант Хосе Авалос, уволившийся из жандармерии и осевший на ферме в аргентинском Чако, где он еще в 1930-х сам преследовал знаменитого бандита Сегундо Давида Перальта по кличке Заваренный Матé (1897–?), нисколько не сомневался в том, что тот — «народный бандит». Он не грабил хороших аргентинцев, а лишь представителей крупных международных агрокорпораций, «*los cobradores de la Bunge y de la Clayton*»[1]. «Разумеется, моя работа была ловить его, а его — быть бандитом», — объяснил мне ста-

[1] Los cobradores de la Bunge y de la Clayton (*исп.*) — инкассаторов «Бунге» и «Клэйтона»; Bunge, Clayton — крупные корпорации. — *Прим. перев.*

рый пограничник, когда я приехал в конце 1960-х к нему на ферму взять у него интервью.

Я мог вполне точно предсказать, что именно Авалос будет вспоминать о Перальтра[I]. В самом деле, были случаи, когда знаменитый бандит задержал в 1935 году машину агента «Бунге энд Борн», забрав у него 6 000 песо; он также ограбил поезд, везший среди прочих пассажиров, вероятно «хороших аргентинцев», служащего «Андерсон, Клэйтон & Ко» (12 000 песо), а также забрал 45 000 песо при налете на местный офис «Дрейфуса» — еще одной компании аффилированной с «Бунге» (крупнейшей компанией в глобальном агробизнесе) — оба ограбления случились в 1936 году. Однако полицейские архивы показывают, что характерные действия банды (ограбления поездов и похищение для выкупа) не демонстрировали никакой патриотической дискриминации.[107] Это именно публика запомнила иностранных эксплуататоров и забыла все остальное.

Ситуация становилась еще более явной в обществах с кровной враждой, где «законное» убийство криминализировалось государством: это еще более усугублялось тем, что никто не верил в беспристрастность государственного правосудия. Джузеппе Музолино, бандит-одиночка, никогда не признавал себя преступником в каком-либо смысле и даже в тюрьме отказывался носить форму заключенного-уголовника. Он не был ни бандитом, ни разбойником, не грабил и не крал, а лишь убивал шпионов, информаторов и *infami*[II]. Этим обусловлена, частично, невероятная симпатия, почти почитание, и защита, которыми он пользовался в своей сельской местности в Калабрии. Он верил во все старое доброе, был против чуждого нового. Он, как и народ, жил в плохие времена, был слабым, подвергался несправедливости и преследованиям. Отличался только одним: тем, что восстал против системы. И кто там будет разбираться в деталях местных политических конфликтов, которые привели к исходному убийству?[108]

В ситуации политической поляризации такой выбор оказывался еще проще. Так классическая карпатская бандитская легенда

[I] Об этих предсказаниях мне напомнил в 1998 году профессор Хосе Нун из Буэнос-Айреса, с которым мы вместе ездили тогда в Чако.

[II] Infami (*ит.*) — мерзавцы, стукачи. — *Прим. перев.*

о Яне «Орле» Салапатеке (1923–1955) сложилась в польских Бескидах. Салапатек был бойцом сопротивления польской Армии Крайовой во время войны, после нее продолжил сражаться в антикоммунистическом сопротивлении, скрывался на нелегальном положении в недоступных горных лесах, пока не был убит краковскими агентами госбезопасности[1].

Как бы ни складывалась в действительности карьера Салапатека, с учетом недоверия крестьян к новым режимам, его миф неотличим от классической легенды о хорошем бандите — «отличия в нескольких незначительных подробностях: топор меняется на автомат, замок феодала — на коммунистический кооперативный магазин, а «староста» — на сталинскую госбезопасность».

Хороший бандит никому не причинял зла: он грабил кооперативы, но никогда не грабил людей. Хороший бандит всегда противопоставляется плохому, так что в отличие от некоторых, включая даже партизан-антикоммунистов, Салапатек никому не вредил («Я помню партизана из той же деревни — вот он был сукин сын» (sic!)). Он помогал бедным, раздавал сласти на школьном дворе, отправился в банк за деньгами, «разбросал их по площади, говоря 'берите, это ваши деньги, они не принадлежат государству'». В абсолютно мифологической стилистике, хотя и в несвойственной манере для партизанского борца с режимом, он использовал силу только для обороны и никогда не начинал стрелять первым. Коротко говоря, «он был действительно справедлив и мудр и честно сражался за Польшу». Относится это к делу или нет, но Салапатек родился в той же деревне, что и Папа Иоанн Павел II.

В самом деле, поскольку в странах с развитой бандитской традицией всеми ожидается кандидат на роль благородного бандита, включая полицейских, судей и самих разбойников, человек за свою жизнь вполне мог стать робин гудом, если только выполнял минимальные требования к этой роли. Таков был случай Хайме Альфонсо «Эль Барбудо» (1783–1824), как явствует из «*Correo Murciano*» в 1821 и 1822 годах, а также отчетов из

---

[1] Др. Анджей Эмерик Манковский любезно предоставил мне английскую версию своей восхитительной «Legenda Salapatka — 'Orla'», базирующейся на полевых исследованиях отделения этнологии и культурной антропологии Варшавского университета в 1988–1990 годах.

путешествия лорда Карнарвона по Иберийскому полуострову (1822)[I]. Очевидно, того же рода случай Мамеда Казановы, действовавшего в Галисии в начале 1900-х. Один мадридский журнал описывал (и фотографировал) его как «галисийского Музолино» (см. о нем выше), а «Diario de Pontevedra» называл его «бандитом и мучеником», защищал его адвокат, позднее ставший президентом Королевской академии Галисии. В 1902 году он указывал суду на то, что баллады и романы народного творчества, продающиеся на улицах города, свидетельствуют о популярности его прославленного клиента[II].

II

Таким образом, некоторые разбойники могут обрести место в легенде о хорошем бандите еще при собственной жизни, и уж непременно при жизни их современников. Более того, вопреки мнению некоторых скептиков, даже те знаменитые бандиты, которые держались от политики подальше, могли вскоре приобретать полезное качество — находиться на стороне бедных. Робин Гуд, чей социальный и политический радикализм особенно никак не проявлялся до появления баллад, собранных и изданных якобинцем Джозефом Ритсоном в 1795 году[III], обладал общественными устремлениями уже в первой версии своей истории XV века: «Он был хорошим разбойником / И много добра сделал бедным». Тем не менее развитый миф о социальном бандите появляется в Европе (по крайней мере в письменной форме) только в XIX веке, когда даже самые неподходящие фигуры с готовностью превращались в борцов за национальную или общественную идею либо — под воздействием романтизма — в людей, свободных от мещанских ограничений среднего класса.

I Antonio Escudero Gutierrez, 'Jaime «El Barbudo»: un ejempeo de bandolerismo social', *Estudis d'història contemporània del país Valencià*, no. 3, University of Valencia, Dept of Contemporary History (Valencia, 1982). P. 57–88.

II Xavier Costa Clavell, *Bandolerismo, Romerias y jergas gallegas* (La Coruña, 1980). P. 75–90.

III Joseph Ritson, *Robin Hood: A Collection of All the Ancient Poems, Songs and Ballads now Extant* (London, 1975, 1832, 1887).

Крайне успешный жанр немецких разбойничьих романов начала XIX века кратко характеризовался так: «Оживленная фабула... предоставляла читателю из среднего сословия сцены насилия и сексуальной свободы... В то время, как корни преступности традиционно находились в родительском небрежении, дурном воспитании и соблазнах женщин свободных нравов, идеальная семья среднего класса, правильная, порядочная, патриархальная и умеряющая страсти, представала одновременно идеалом и основой упорядоченного общества»[I].

В Китае, конечно, миф гораздо старше: первые легендарные разбойники относятся к периоду «Сражающихся царств» (481–221 года до н.э.), а великая бандитская классика XVI века — роман «Речные заводи», основанный на истории реальной шайки двенадцатого века, — был известен как неграмотным сельчанам (от сказителей и бродячих театральных трупп), так и любому молодому образованному китайцу, в частности Мао[II].

Романтизм XIX века безусловно способствовал формированию дальнейшей трактовки повстанца-бандита как образа национального, общественного и даже личного освобождения. Я не могу отрицать, что в некотором отношении мой взгляд на гайдуков как на «постоянный и сознательный центр крестьянского бунта» (см. выше) тоже попал под это воздействие. Тем не менее набор воззрений о социальном бандитизме слишком цельный и устойчивый, чтобы его можно было просто свести к нововведению XIX века или даже к плодам литературного конструирования. Там, где у неискушенной публики в селе или даже в городе имелся выбор, она выбирала те элементы бандитской литературы или бандитской репутации, которые подходили социальному имиджу.

Роже Шартье изучал литературу о бандите Гийери (орудовавшем в Пуату в 1602–1608 годах), и его анализ показал, что при наличии выбора — между безжалостным бандитом, которого искупает только отвага и раскаяние, и человеком нежестоким, который

I Uwe Danker, *Räuberbanden im Alten Reich um 1700: Ein Beitrag zur Geschichte von Herrschaft und Kriminalität in der frühen Neuzeit* (Frankfurt, 1988), I. P. 474.

II P. Billingsley, op. cit. P. 2, 4, 51.

хоть и разбойник, но уступает в беспощадности и брутальности солдатам и принцам, — читатели предпочитали последнего. Это с 1632 года легло в основу первого во французской литературе портрета классического и мифологически схематизированного «хорошего бандита» (*«le brigand au grand cœur»*), ограниченного только требованиями государства и церкви не допускать безнаказанности преступников и грешников[I].

Процесс выбора становится еще более явным в случае бандита, жизнь которого не сопровождалась какой-либо заметной литературной хроникой, что было подтверждено архивными данными и интервью с 135 пожилыми информантами в 1978–1979 годах[II]. Сохранившаяся в народе память о Наццарено «Чиниккьо» Гульельми (1830 — ?) в районе родного ему Ассизи (Умбрия) — это классический миф о «благородном разбойнике». Хотя «фигура Чиниккьо, возникающая из архивных исследований, не находится в серьезном конфликте с устной традицией», в реальной жизни он очевидно не был идеальным Робин Гудом. И хотя он заключал политические союзы и предвосхитил более поздние методы мафии, предлагая землевладельцам за регулярные отчисления защиту от других бандитов (да и от себя самого), устная традиция подчеркивает тот факт, что он не желал иметь дело с богачами, а особенно — что он ненавидел и (что важно) мстил графу Чезаре Фьюми, который, как утверждалось, несправедливо обвинял его. Однако в этом случае в мифе присутствует и более современный элемент. Люди считают, что бандит, который исчез из виду в 1860-х, организовав побег в Америку, стал там очень преуспевающим членом общества, а один из его сыновей, говорят, стал успешным инженером. В сельской Италии конца XX века социальная мобильность также является наградой благородных разбойников...

I *Figures de la gueuserie: Textes présentés par Roger Chartier* (Paris, 1982). P. 83–96.

II Maria Luciana Buseghin and Walter Corelli, 'Ipotesi per l'interpretazione del banditismo in Umbria nel primo decennio dell'Unità', *Istituto 'Alcide Cervi' Annali*, 2/1980. P. 265–280.

III

Какие же бандиты остаются в памяти? Число тех, кто пережил века в народных песнях и историях, в действительности довольно скромно. Собиратели фольклора XIX века нашли всего около 30 песен о разбойниках Каталонии XVI–XVII веков и только около 6 из них относятся исключительно к определенным бандитам (треть всего собранного — это песни о Союзах начала XVII века, созданных против бандитских нападений).

Не более полудюжины андалузских бандитов действительно прославились. Только два вождя бразильских кангасейру — Антониу Сильвину и Лампион — остались в национальной памяти. Из валенсийско-мурсийских бандитов XIX века только один удостоился собственного мифа[I].

Многое, разумеется, могло утратиться из-за недолговечности брошюрок и листков с балладами, а также враждебности властей, которые порой преследовали распространение таких материалов. Еще большее количество могло и не дойти до печати либо избегнуть внимания первых фольклористов. В одной работе 1947 года упоминались два примера религиозного культа, возникавшего вокруг могил погибших бандитов в Аргентине (см. выше), более поздние исследования обнаружили их по меньшей мере восемь. За одним исключением, ни один из них не привлек внимание образованной публики[II].

И все же очевидно существует некий процесс, которые отфильтровывает некоторые шайки и их предводителей для национальной и даже международной славы, оставляя прочих местным антикварам или полному забвению. Что бы ни выделяло их первоначально, проводником их славы вплоть до XX века была печать. Учитывая, что все известные мне фильмы о знаменитых бандитах посвящены фигурам, уже к тому моменту воспетым в балладах, брошюрах и газетных репортажах, можно утверждать, что и сей-

---

I Torres I Sans, op. cit. P. 206, 216; C. Bernaldo de Quiros and Luis Ardila, *El Bandolerismo Andaluz* (Madrid, 1978; original edition, 1933), *passim*; A. Escudero Gutierrez, op. cit. P. 73.

II Felix Molina Tellez, *El mito la leyenda y el hombre. Usos y costumes del folklore* (Buenos Aires, 1947), цит. в: Hugo Nario, *Mesías y bandoleros pampanos* (Buenos Aires, 1993). P. 125–126; Hugo Chumbita, 'Bandoleros sanctificados', *Todo Es Historia*, no. 340 (Buenos Aires), Nov. 1995. P. 78–90.

час ситуация не изменилась, несмотря на отступление печатного слова (вне компьютерного экрана) перед натиском движущихся картинок кино, ТВ и видео. Однако память о разбойниках, бандитах сохраняется также благодаря их связи с конкретными местами, такими, как Шервудский лес и Ноттингем Робин Гуда (что опровергается историческими исследованиями), гора Лянь-Шань из китайского разбойничьего эпоса (в провинции Шаньдун), несколько анонимных «воровских пещер» в Уэльсе, а также, без сомнения, в других горных районах. Особый случай святилищ, посвященных культам мертвых бандитов, мы рассмотрели выше.

Однако изучать судьбы каких-то определенных бандитов, чтобы выяснить, почему лишь некоторые из них оказались отмеченными славой и вечностью, менее интересно, чем отслеживать изменения в коллективной традиции бандитизма. Так, например, есть заметная разница между теми местами, где бандитизм, если он когда-либо имел значительный размах, уже вышел за пределы памяти ныне живущих людей, и теми местами, где он еще жив в памяти.

Это отличает Британию или последние три столетия юг Франции («где нет упоминаний о крупных шайках»)[I] от таких регионов, как Чечня, где бандитизм вполне жив еще сегодня, или стран Латинской Америки, где он еще живет в памяти ныне живущих мужчин и женщин.

Есть страны, где память о бандитизме XIX века (или его аналоге) сохраняется живой частично в национальной традиции, но главным образом в современных массмедиа, так что он все еще может функционировать как стилевая модель, подобно Дикому Западу в США. Или как модель политических действий, подобно аргентинским партизанам 1970-х, которые видели себя последователями *montoneros* (чье имя они заимствовали) — выбор, который, согласно историкам, необычайно усилил их привлекательность для потенциальных адептов и для сторонней публики[II]. В странах первого типа память о настоящих бандитах уже мертва, или на нее

I Yves Castan, 'L'image du brigand au XVIIIe siècle dans le Midi de la France', в G. Ortalli, ed., op. cit. P. 346.

II Richard Gillespie, *Soldiers of Peron: The Montoneros* (New York, 1982), глава 2.

наложились другие модели социального протеста. То, что сохранилось, ассимилировалось с стандартными мифами о бандитах. Этому мы уже посвятили продолжительную дискуссию.

Гораздо больший интерес представляют страны второго типа. Полезно было бы в заключение этого раздела сравнить между собой три такие страны с различными путями развития национального мифа о бандитах: Мексику, Бразилию и Колумбию[I]. Все три хорошо знакомы с полномасштабным бандитизмом в ходе своей истории.

Любой путешественник согласится с тем, что Мексика была наиболее подверженным бандитизму государством в Южной Америке. Более того, в течение первых шестидесяти лет независимости нестабильность правительства и упадок экономики, гражданские и внешние войны давали вооруженным отрядам, людям, кормившимся оружием, значительные преимущества, и в частности выбор — примкнуть к армии или полиции на государственном содержании (что, впрочем, никогда не мешало поборам) либо пойти в обычные разбойники. Либералы Бенито Хуареса во время гражданских войн за неимением более традиционной поддержки использовали бандитов очень широко. Однако те бандиты, вокруг которых сложились народные мифы, действовали в стабильный период дикатуры Порфирио Диаса (1884–1911) до мексиканской революции. Даже в то время их можно было рассматривать как противников власти и сложившегося порядка. Позднее при определенном сочувствии их могли даже представлять предтечами мексиканской революции[II].

Это придало мексиканскому бандитизму уникальный уровень национального признания в основном благодаря Панчо Вилье, самому известному из примкнувших к революции повстанцев-разбойников. Но не в США, где в эти же самые годы отчаянные, жестокие и жадные бандиты-мексиканцы заняли место стандартных

I Здесь я следую идеям Гонсало Санчеса и Донни Меертенса, которые впервые были обнародованы в их *Bandoleros, gamonales y campesinos*, с. 239. См. также на англ.: 'Political Banditry and the Colombian *Violencia*', в Richard W. Slatta, ed., *Bandidos: The Varieties of Latin American Banditry* (Wesport, CT, 1987). P. 168.

II Nicolé Girón, *Heraclio Bernal: Bandolero, cacique o precursor de la revolucion?* (Mexico DF, INAH, 1976).

негодяев Голливуда, по меньшей мере вплоть до 1922 года, когда правительство Мексики пригрозило запретить прокат всех фильмов, выпущенных кинокомпаниями-обидчицами[I].

Из других бандитов, прославившихся на всю страну при жизни, — Хесус Арриага (Чучо Эль Рото) в Центральной Мексике, Эраклио Берналь в Синалоа и Сантана Родригес Палафокс (Сантанон) в Веракрусе — по крайней мере первые два популярны до сих пор. Берналь, убитый в 1889 году и временами занимавшийся политикой, вероятно, наиболее известен в медиа: его воспевает 13 песен, 4 поэмы и 4 фильма (некоторые в телеверсии). Но я подозреваю, что дерзкий католик и антиклерикал трикстер Чучо (умер в 1885 году), тоже попадавший на экраны, остается ближе к сердцам простых людей.

В отличие от Мексики, Бразилия прошла путь от колонии к самостоятельной империи без разрушений. Социальные и политические условия для эпидемической вспышки бандитизма сложились в унылых районах северо-востока во времена Первой республики (1889–1930). Отряды вооруженных вассалов, привязанных к определенным территориям, во главе с семьями местной элиты образовали независимые силы, кочующие по площадям до сотни тысяч квадратных километров (четыре-пять штатов). Великие кангасейруш 1890–1940 годов вскоре становились локально знаменитыми. Слава о них распространялась из уст в уста и в дешевых изданиях произведений местных поэтов и певцов, которые появились в Бразилии не ранее 1900 года[II]. Массовое переселение в города юга и растущая грамотность позднее способствовали распространению этой литературы по магазинам и рыночным прилавкам мегаполисов типа Сан-Паулу.

Современные медиа привели кангасейруш, явный местный аналог Дикого Запада, на кино- и телеэкраны с тем большей легкостью, что самый известный из них, Лампион, был, по сути, первым великим бандитом, снятым на пленку в естественных условиях[III].

I Allen L. Woll, 'Hollywood Bandits 1910-1981', в R. Slatta, ed., op. cit. P. 171–180.

II Linda Lewin, 'Oral Tradition and Elite Myth: The Legend of Antônio Silvino in Brazilian Popular Culture', *Journal of Latin American Lore*, 5:2, 1979. P. 57–204.

III Когда «Mutual Film Corporation» снимала Панчо Вилью в 1914 году, он выступал в роли революционного генерала.

Из двух прославленных бандитов мифа о «благородном разбойнике» при жизни удостоился Сильвино, чему способствовали журналисты и литераторы, противопоставляя его значительному, но вряд ли положительному авторитету Лампиона, его наследника на троне «короля хинтерланда».

Интерес также представляет кооптация кангасейруш, политическая и интеллектуальная, в бразильскую национальную традицию. Их очень скоро романтизировали северо-восточные писатели, и в любом случае они с легкостью служили делу демонстрации несправедливости и коррумпированности политической власти. Поскольку Лампион имел и политический потенциал, они привлекали еще более широкое внимание.

Коммунистический Интернационал даже рассматривал его в качестве возможного лидера революционно-повстанческого движения, вероятно по предложению главы Бразильской компартии Луиса Карлоса Престеса, который в начале своей карьеры, будучи предводителем «Долгого марша» вооруженных мятежников, находился в контакте с Лампионом (см. выше).

Однако бандиты, судя по всему, не сыграли большой роли в серьезной попытке бразильских интеллектуалов 1930-х годов выстроить новую концепцию страны из народных и социальных элементов вместо элитистских и политических. Только в 1960-х и 1970-х годах новое поколение интеллектуалов превратило *кангасейру* в символ бразильского образа жизни, борьбы за свободу и власть угнетенных, в общем, в «национальный символ сопротивления и даже революции»[1]. Это, в свою очередь, изменило его образ в массмедиа, несмотря на то что народные брошюры и устная традиция еще была жива в северо-восточных районах по крайней мере в 1970-х годах.

Колумбийская традиция развивалась по совершенно иной траектории. По очевидным причинам она оказалась полностью в тени кровопролитной эпохи, наступившей с 1948 года (некоторые историки предпочитают отсчитывать от 1946-го) и известной под именем «La Violencia» и ее последствий. По сути, этот

---

[1] Gonzalo Sanchez, Prologue to Maria Isaura Pereira de Queiroz, *Os Cangaçeiros: La epopeya bandolera del Nordeste de Brasil* (Bogotà, 1992). P. 15–16; см. также L. Lewin, loc. cit. P. 202.

конфликт сочетал классовую борьбу, местничество и политически ориентированную партизанскую деятельность сельских слоев общества в процессе идентификации с той или иной партией страны (как в республиках Рио-де-Ла-Плата). Речь идет о партиях, представляющих либералов и консерваторов. Это привело к партизанским войнам в некоторых регионах после 1948 года и в конечном итоге (в отличие от тех регионов, где в 1960-х развивалось могущественное ныне[1] Коммунистическое повстанческое движение) оставило после себя массы побежденных, в прошлом политически ориентированных вооруженных отрядов, полагающихся на связи с местными влиятельными людьми и симпатии крестьян. И то и другое в конце концов было ими утрачено. В 1960-х годах они полностью исчезли, оставив по себе память, которую хорошо описал один из лучших специалистов по этой теме:

> Возможно, кроме идеализированного образа, сохраняющегося в памяти крестьян областей, оказывавших поддержку, «социальный бандит» потерпел поражение и как мифический персонаж... В Колумбии процесс сложился совершенно другим образом, нежели это случилось с бразильским *кангасу*. Со временем *кангасу* потерял большую часть свойственной ему неоднозначности и мутировал в сторону образа идеального социального бандита. *Кангасейру* превратился в национальный символ природных добродетелей и воплощение национальной независимости... В Колумбии, напротив, бандит персонифицирует жестокое и бесчеловечное чудовище или, в лучших случаях, «дитя Виоленсии», несостоявшегося, дезориентированного

[1] Коммунистическое повстанческое движение в Колумбии было представлено тремя основными организациями: ФАРК, образованная в результате сближения либеральных и коммунистических отрядов после окончания Ла Виоленсии; ЕЛН, имевшая корни в студенческом движении; М-19, образованная первоначально как отряд городской герильи. К началу 1990-х годов только ФАРК насчитывала до 20 000 бойцов, партизаны контролировали до 45% территории страны (преимущественно сельскую местность). В 2016 году ФАРК и правительством Колумбии был подписан договор о прекращении вооруженного противостояния, разоружении партизан и их интеграции в социальную и политическую жизнь страны. — *Прим. ред.*

и управляемого местными вождями. Таков был образ, устоявшийся в общественном мнении[I].

В каком бы виде образы партизан ФАРК (Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа, главной повстанческой силы в Колумбии с 1964 года), вооруженных бригад или боевиков наркокартелей ни дошли до XXI века, они уже не будут иметь ничего общего со старым мифом о бандите.

И наконец, что же происходит с самой старой и самой продолжительной традицией социального бандитизма — китайской? Стоящая на принципах равенства или как минимум не в ладах с конфуцианским идеалом иерархичности, она на протяжении двух тысячелетий представляет определенный нравственный идеал (выполнения «небесных предначертаний»). Как запомнились бандиты-бунтовщики вроде Бай Лана (1873–1915), о котором пели:

Бай Лан, Бай Лан —
Он грабил богачей, чтобы беднякам помочь,
Он исполнял небесное веленье.
Всем нравится Бай Лан:
Через два года богач с бедняком будут равны[II].

Сложно представить, что десятилетия военных правителей и бандитского разгула, которые последовали за крахом Китайской империи в 1911 году, будут вспоминаться с теплотой хоть кем-то, кто их пережил. Несмотря на то что размах бандитизма резко сократился после 1949 года, можно предположить, что бандитская традиция неплохо сохранялась и в первые десятилетия коммунизма в традиционно «бандитских областях» по-прежнему в значительной степени сельского Китая, несмотря на отрицательное отношение партии.

Можно также предположить, что она мигрирует в новые мегаполисы, которые миллионами всасывают бедное население — в Китае так же, как и в Бразилии. Более того, великие литературные

I G. Sanchez and D. Meertens, 1987. P. 168.
II P. Billingsley, op. cit. P. 133.

памятники бандитскому образу жизни, подобные «Речным заводям», определенно останутся в культуре образованных китайцев. Возможно, они обретут новую жизнь (как в широких массах, так и в высокой культуре) на экранах Китая XXI века, как это случилось в Японии XX века с бродячими самураями — странствующими рыцарями, — не столь далеко ушедшими от китайских бандитов. Есть ощущение, что потенциал романтического мифа у них далеко не исчерпан.

Послесловие

*Послесловие состоит из двух частей.
В первой рассматриваются основные аргументы критиков моего исходного тезиса о бандитизме, что пригодится читателям, заинтересованным в академическом разборе темы.
Вторая часть содержит рассуждения о выживании классической модели социального бандитизма в эпоху экономики развитого капитализма вплоть до настоящего дня.*

I

Против исходного тезиса о «социальном бандитизме» было написано немало критических статей и книг. Первое и наиболее фундаментальное исследование провел Антон Блок в начале 1970-х[I], с тех пор оно получило широкое распространение. Блок не отрицал существование «социального бандитизма» в моем понимании, так как «в начальной фазе своего развития преступники и бандиты воплощали недовольство крестьян. Требуя выкуп у богатых, воруя их скот и грабя их *masserie*[II], бандиты становились народными героями, поскольку делали то, что многим их товарищам самим хотелось бы делать». Однако без подмоги их не хватало надолго, а крестьяне, не имея никакой власти, были по определению очень слабой поддержкой. Таким образом, преступники, начав с исправления некоторых личных несправедливостей, «либо погибали, либо попадали в зависимость от центров силы сложившихся местных элит» и «в таковом качестве представляли другую сто-

---

I Anton Blok, «The Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered», *Comparative Studies in Society and History*, 14, 1972, с. 495–504. Наиболее полно соображения высказаны в A. Blok, *The Mafia of a Sicilian Village: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs 1860–1960* (Oxford, 1974). P. 97–102.

II Masserie (*um.*) — усадьбы. — *Прим. перев.*

рону в классовой борьбе». Не говоря уж о том, что не было недостатка в обычных, социально никак не привязанных, грабителей и воров[I]. Ничто из вышесказанного не противоречит тезисам моей книги, хотя мнение Блока о том, что «разбойничьи и бандитские мифы следует рассматривать как силы, ослабляющие крестьянскую мобилизацию», нуждается в пересмотре.

Блок пишет, что «ошибочность восприятия Хобсбаумом разбойничества состоит в том, что он слишком много внимания уделяет самим крестьянам и бандитам». Иными словами, он отмечает, что я недостаточно уделяю внимания основному обществу и его властным и политическим структурам. И это замечание вполне справедливо.

Эти вопросы определенно не получили освещения в моей книге (см., например, главу 7), а более широкие рамки исторического анализа там были лишь слегка набросаны. Впрочем, как я сам отмечал, «модель, фокусирующаяся на функции социального протеста у бандита (реального или приписываемого ему), возможно, не является самой подходящей для... анализа... поскольку должна учитывать явление во всей целостности, подпадает ли оно под признаки социального протеста или нет. Так что ключевой вопрос волны средиземноморского бандитизма в конце XVI века состоит не в том, корректно ли отнести Шарру к социальным бандитам»[II].

Конечно, в моей книге в первую очередь рассматривалась (и рассматривается) «функция социального протеста бандита». Однако глава об отношении бандитизма к политике, добавленная в этом издании, может шире раскрыть тему. Бандитизм, это совершенно ясно, не может восприниматься вне политического контекста.

С другой стороны, «миф» о социальном бандитизме Робина Гуда, который несомненно воплощает социальные чаяния крестьян, заслуживает, с точки зрения Блока, исторического изучения, но очень мало соотносится с социальной действительностью. Упрощая — возможно, слишком — Робин Гуд существует только в сознании общества. Но если бы не было связи между реальностью бандита и его мифом, любой разбойничий предводитель мог бы

I A. Blok, 1974. P. 99–101.

II E. J. Hobsbawm. Introduction to Ortalli, ed. Op. cit. P. 15.

стать Робин Гудом. И все же, хотя на эту роль временами претендовали самые неподходящие кандидаты, насколько мне известно, во всех областях с устоявшимися бандитскими мифами различие между «хорошими» бандитами и главным образом антисоциальными «плохими» бандитами проводится на основании их поведения в реальной жизни (настоящего или предполагаемого).

Сегундо Давид Перальта по кличке Заваренный Матé считался в Чако «хорошим» разбойником даже среди полицейских, которые его преследовали, а некий Веласкес — считался плохим. Братья Месазги (см. главу «Портрет разбойника») не имели определенного статуса по меркам местного общественного мнения, поскольку люди по-разному относились к той вражде, которая привела их к положению вне закона, — насколько она была легитимной. Однако, поскольку они помогали людям, они стали в глазах последних «особыми бандитами».

Единственным явным случаем социального бандитизма в Германии XVIII века был Матиас Клостермайер и его шайка (*«der bayrische Hiesel»*), которые преуспевали в Баварии в 1770-х годах. Поскольку они занимались браконьерством, которое у крестьян всегда считалось достойным делом, их любили и поддерживали.

«Сотни людей говорили мне, — рассказывал Матиас, — приходи на мои поля, там кругом дичь, сотни голов, даже больше». Он объявил личную войну против охотников, егерей, представителей правопорядка и прочих чиновников, публично и с открытым забралом. О нем говорили, что он грабит только своих «врагов», не трогая никого другого. Налет среди бела дня на городскую администрацию Тефертингена (близ Аугсбурга) он считал «законным актом», и, очевидно, крестьяне разделяли эту точку зрения[1].

И отнюдь не каждый аргентинский гаучо-бандит получал от общества удостоверение в святости. Для этого ему надо было стать мучеником. Минимальное условие заключалось в том, чтобы «он боролся против официального правосудия, в особенности против института полиции, и пал в этой борьбе». Бандитка Мартина Чапанай, крайне идеализированная во многих отношениях,

---

[1] *Lebend und Ende des berüchtigten Anführers einer Wildchützenbande, Mathias Klostermayers, oder des sogenannten Bayerischen Hiesels* (Augsburg, 1772). P. 155–160.

так и не получила народной канонизации, поскольку «не пала жертвой властей»[I].

Конечно, это все может подтверждать точку зрения беспристрастных наблюдателей вроде сицилийца Джузеппе Джариццо, выдающегося историка Сицилии, который отвергал романтические иллюзии, полагая (как я сам слышал из первых уст), что бандитский миф по сути есть сочетание утешения с подделкой.

И с другой стороны, учитывая универсальность и стандартность бандитского мифа, что же странного в том, что преступник, оказавшийся по той или иной причине выдвинутым на эту престижную роль в сценарии сельской жизни, попытается порой, при прочих равных, действовать согласно тексту роли? Без сомнения, мертвые бандиты или даже те, что далеко, легче обращались в робинов гудов, невзирая на их действительное поведение.

Но имеются свидетельства и о том, что, по крайней мере иногда, некоторые бандиты пытались жить согласно ролевым правилам. В конце 1960-х годов функционеры коммунистической партии (КПИ) в Бихаре (Индия) тщетно пытались отговорить сельского активиста (перешедшего от стихийных налетов на землевладельцев к коммунистической борьбе) от раздачи денег, собранных для партии, напрямую крестьянам. Он всегда раздавал деньги: трудно было избавиться от старой привычки.

Второе направление критики нацелено на подрыв классового характера бандитизма и даже бандитского мифа, связывая и то и другое с миром местного правящего класса вместо крестьянства. Так, исследователи оригинального робингудовского цикла и баллад бразильских *кангасейруш* XX века указывают на примечательное отсутствие там интереса к проблемам предполагаемой аудитории, современного им крестьянства[II]. Также очевидно, что убийства, которые ставят многих юношей вне закона, с большой долей вероятности возникают из местной семейной или политической вражды, то есть из соперничества местных влиятельных семейств.

Но тезис бандитов, который учитывает джентльменов-разбойников и местное политическое соперничество, заключался не в том, что фактически все разбойничество следует рассматривать,

---

I H. Chumbita, 1995. P. 80–81.

II J. C. Holt, op. cit.; L. Lewin, loc. cit. P. 157–202.

как манифестацию крестьянского протеста (это корректно обозначено Блоком, как «распространенная вульгаризация хобсбаумовской модели социального бандитизма»), и еще менее в том, что разбойники интересуют только крестьян.

На самом деле один из главных элементов бандитского мифа — героический и желательно бескорыстный бродячий рыцарь, защитник справедливости, мечник (как в самурайских эпосах Куросавы) или стрелок (как в вестернах), как правило, не принадлежит крестьянскому обществу. Миф обращен к пылким юношам всех классов, в особенности тем, кто носит оружие (насколько он воздействует на девушек — оставим этот вопрос открытым). И все же из кого бы ни состояла исходная аудитория того или иного цикла баллад, сущность бандитского мифа состоит в социальном перераспределении и в справедливости для бедных. А большинство бедных были крестьянами, так же как и подавляющее большинство тех, кто становился бандитами.

Третье, и наиболее узкое, направление критики было ориентировано на тот тип бандитов, который я обозначил словом «гайдуки», то есть постоянные бандитские группы как потенциальные «примитивные движения партизанского сопротивления и освобождения». Теперь я признаю, что этот взгляд сформировался под влиянием образа гайдука, как борца за свободу и национальное освобождение, каковой можно назвать «топосом романтической эпохи». Тем не менее вытекающая из этого значимость «модели гайдука» для балканских революционеров также не раз подчеркивалась[I]. Более того, специалисты по истории Оттоманской империи и Балкан, в частности Фикрет Аданир, довольно убедительно доказывали, что нельзя оперировать одним термином «крестьяне» в областях, где баланс между оседлым земледелием и кочевым (или отгонно-пастбищным) пастушеством веками колебался и не был стабильным. Это тем более справедливо, учитывая, что гайдуки, судя по всему, возникли главным образом из особых пастушеских сообществ[II].

I См. высказывания Матеи Казаку в «Dimensions de la révolte primitive en Europe centrale et orientale» (Débat ouvert le 5/VI/1981; President: Marc Ferro), *Questions et Débats sur l'Europe Centrale et Orientale*, no. 4, Dec. 1985. P. 91 (Paris, репринт).

II F. Adanir, op. cit., *passim*.

И все же «военная страта, выросшая из вольного крестьянства» (пастушеского или иного), служила как образцом свободы и потенциального сопротивления властям, так и примером для других крестьян, живущих в не столь удачных местах, даже если те, подобно столь многим сообществам на военных границах империи, оставались интегрированными в систему империи.

Биограф одного из самых знаменитых бандитов-революционеров недавно напомнил всем нам о западном аналоге вольных крестьян — «военных колонистах», действовавших против апачей на границе Испанской империи в Мексике[I]. Подобно аргентинским гаучо, которые считали себя врагами государства и законной власти, даже служа феодалам и кандидатам в президенты, династии греческих воинов, сопротивлявшихся оттоманской власти или находившихся у нее на службе, считали себя независимыми от нее. «В коллективной памяти сохраняется конфликт: песни клефтов отражают ясную границу между миром примитивного бунта... и миром законности, воплощаемого оттоманскими властями и знатью. Какая бы настройка ни проводилась, чтобы между этими двумя мирами возник какой-то приемлемый *modus vivendi*, этот водораздел оставался на месте, его нельзя было отменить»[II].

Однако мой исходный тезис о том, что социальные бандиты, в отличие от преступного «подполья» и сообществ разбойников-налетчиков по призванию, остаются частью крестьянского нравственного мира может больше, чем я сначала думал, пострадал от факта, который я обнаружил по чистой случайности.

Речь идет о том, что структурированные и существующие на постоянной основе бандитские формирования представляют собой обособленные и эгоцентричные социальные сообщества. Подобно антиобществу уголовного мира, они разрабатывали особые формы поведения, свои языки (арго), чтобы отличать своих от всех прочих. Хотя «Избранный словарь бандитского сленга» в «Бандитах республиканского Китая»[III] Биллингсли не дает поводов считать, что лексикон китайских бандитов был особенно широк,

---

I F. Katz, op. cit., cap. I.

II Spiros Asdrachas, в «Dimensions de la révolte primitive en Europe centrale et orientale». P. 88.

III Billingsley, *Bandits in Republican China*.

если не считать выражений для каких-то специфических действий и эвфемизмов. И все же они оставались преданными нравственным основам сообщества и своей империи, в отличие от таких групп, как описанные Антоном Блоком богохульники *Bokkerijders*, сознательно противопоставлявшие себя христианскому обществу.

Это подводит нас к четвертой линии критики, противоположной первым трем, которая утверждает, что проводить различие между социальными и другими типами бандитизма неверно, потому что вся преступность является в некотором роде социальным протестом и бунтом. Главным примером этой точки зрения является работа Карстера Кютера о немецком преступном подполье XVIII века, которая с соответствующих позиций критикует мою книгу[I]. Элементы той же аргументации встречаются и в масштабном исследовании Блока об одной из таких банд — ужасных голландских *Bokkerijders* (1730–1774)[II].

Разбор этой аргументации займет немного больше места, не столько потому, что проблема «подполья» лишь по касательной задета в самой книге, а потому, что здесь поднимаются важные вопросы о структуре европейского социума. Особенно вопросы о глубинном, сейчас почти забытом, различии между «почтенными» (*«ehrlich»*) или «уважаемыми» и «постыдными» (*«unehrlich»*) или неуважаемыми занятиями, которые присутствуют во всех слоях общества[III].

Социальные бандиты никогда не переставали быть частью общества в глазах крестьян, что бы ни говорили власти, в то время как уголовный мир формировался как внешняя группа и его ряды пополнялись также из внешних групп. Имеет значение даже сам факт того, что в немецком языке слова *«ehrlich»* и *«unehrlich»*, хотя и происходят от слова «честь», приобрели смысл «чест-

---

I Carsten Küther, *Räuber und Gauner in Deutschland: das organisierte Bandenwesen im 18. und frühen 19. Jahrhundert* (Göttingen, 1983).

II Anton Blok, *De Bokkreijders: Roversbanden en geheime Genootschappen in de Landen van Overmaas [1730–1744]* (Amsterdam, 1991). A. Blok, The Bokkerijders: Eighteenth-century Brigandage in the Meuse Valley, в G. Ortalli, ed., op. cit. P. 363–364.

III По поводу этого различия см. K.-S. Kramer, Ehrliche und Unehrliche Gewerbe, в A. Erler et al., eds., *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* (Berlin, 1971). P. 855–858; W. Dankert, *Unehrliche Leute* (Berne/Munich, 1963).

ный» и «бесчестный»[I]. Как это обычно бывает, на практике различие менее явно, чем в теории. Социальные бандиты, как и остальное оседлое крестьянство, относились к «правильному» миру уважаемых, «почтенных» («*ehrlich*») людей, в то время как уголовники, которые часто именовали себя (да и сейчас порой именуют) «пошедшими по кривой дорожке», «испорченными» («*krumm*»), к ним не относились.

Для криминального подполья это различие было столь же явным: в Германии они были ушлыми «*Kochemer*» (этот термин, как и значительная часть немецкого воровского арго, пришел из идиша); остальные были глупыми и невежественными «*Wittische*». Однако люди могли легко переходить из одной категории в другую, несмотря на то что большая часть доиндустриального уголовного мира состояла из представителей традиционно маргинальных групп либо из передающихся по наследству уголовных семейных кланов. Так, в мае 1819 года в Швабии (Западная Германия) местная уголовная банда развесила по полям следующие призывы:

Коли виселиц не боитесь
И работать не хотите,
Присоединяйтесь ко мне:
Мне нужны крепкие парни!
(*Капитан шайки из 250 молодцов*)[II]

И в самом деле, в этих шайках встречались люди, по описаниям являвшиеся детьми «честных» родителей.

Ключевым вопросом является природа этого подполья, этого пограничного мира. Оно состояло преимущественно из двух пересекающихся компонентов: из меньшинств аутсайдеров или «чужаков», живущих среди оседлого «честного» населения, и бродяг и пришлых. Наверное, можно добавить горстку «неуважаемых» личностей и семейств, которые имелись в каждой деревне —

I Так в оригинале, лингвистически звучит неочевидно. — *Прим. перев.*

II Аноним, *Der schwarze Veri und dei letzten Räuberbanden Oberschwabens* (Wangen im Allgäu, 1977). P. 9. Книга, на которую обратила мое внимание миссис Эллис Айслер, видимо, является репринтом тома из библиотеки князей Вальдбург-Вольфеггских. Описываемая шайки (или шайки) никогда и близко не достигали численности 250 человек.

аналогов отца Гека Финна или с тем же успехом и самого Гекльберри Финна. В значительной степени они были функционально интегрированы в «правильное», «уважаемое» общество, хотя и не являлись его частью: евреи требовались для торговли скотом, живодеры появлялись вслед за торговлей (необходимой, хотя и презираемой), точильщики ножей, лудильщики, бродячие коробейники были незаменимы, не говоря уж о ярмарочном люде, который представлял доиндустриальный развлекательный бизнес.

Поскольку европейское общество формально не признавало касты, обособленность и зачастую наследственный характер формирования таких внешних групп легко увидеть только в этнически определенных случаях, таких, как евреи и цыгане. Тем не менее они образовывали нечто вроде неофициальной страты аутсайдеров и отверженных. Достаточно любопытно, что иногда власти нанимали их именно по причине их нахождения вне пределов общества: хорошей иллюстрацией является работа палача.

В Баварии судебные приставы, курьеры и другие подобные мелкие правительственные агенты часто набирались из этих отверженных («*unehrliche*») профессий: отсюда, как предполагалось (Кютером), та особо маркированная враждебность, с которой к ним относился Баварский Матиас[1], представлявший в качестве социального бандита «честный» мир крестьянства.

Эти группы в определенной степени никогда не были функционально интегрированы; в особенности в многочисленные периоды голода, войн или иных кризисов и социальных пертурбаций, когда дороги Европы заполнялись беженцами и беженками, нищенствующими, ворующими и ищущими работу.

Нет никаких сомнений, что число бродячего населения могло быть огромным. Так, в Германии XVIII века оно порой достигало почти 10% от общего населения. Масса мужчин (а в плохие времена и женщин), состоящая из странствующих профессионалов (тех, кто ищет работу), или «здоровенных амбалов-попрошаек» (45% бездомных французских уголовников достигали роста, кото-

---

[1] В оригинале *Bavarian Hiesel*, однако такое имя, судя по всему, нигде больше не встречается, в отличие от *Hiasl*, что трактуется как уменьшительное от *Mathias*. — *Прим. перев.*

рый имела только десятая часть основного населения)[I], или кочующих поденщиков, — всё это были люди, не имеющие даже условного места в общественном укладе.

Та точка зрения, согласно которой криминальные круги также выражали социальный протест, покоится на том, что они были связаны с широким угнетаемым и дискриминированным низшим классом, будь он оседлый или кочевой, что во многом сближает ее с теми взглядами, согласно которым социальные бандиты связаны с крестьянским обществом и «представляют» его интересы. Утверждалось даже, что уголовные бандиты являются *бо́льшими* социальными революционерами, чем робины гуды, поскольку являются вызовом существованию власти и самого государства, в то время как социальные бандиты, как мы могли видеть сами, таким вызовом не являются.

Действительно, ни у кого нет сомнений в том, что банды уголовников находят помощь и поддержку среди отверженных и социально-маргинальных слоев населения. Также несомненно и то, что почти любой представитель этих слоев мог быть, а в случае бродяги — с большой вероятностью — был бы втянут в какую-то деятельность, которая считалась бы преступной не только властями, но и оседлым местным населением.

В те периоды, когда бродяжничество резко возрастало, «несмотря на частую демонстрацию солидарности и жесты сочувствия подлинному несчастью, образ нищего 'божьего человека' начинал уступать место образу опасного бродяги, человека выбравшего путь к преступлению»[II].

К драконовским мерам против ничем не занятых маргиналов, бродяг, иноземных нищих призывали не только возникающие буржуа с их пуританской этикой, но и обычный трудовой сельский люд, гораздо менее защищенный нежели горожане.

И наконец, нет сомнений в том, что банды разбойников осознанно и систематически полагались на сеть поддержки, убежищ и снабжения в основном среди аутсайдеров в сельской местности, да и не могли бы действовать без нее.

И все же социальных бандитов и обычных сравнивать невозможно, даже если в глазах официальной власти и те и другие были

I N. Castan, «La Justice Expeditive», *Annales ESC*, 31/2, 1976. P. 338.

II Ibid. P. 334.

одинаково повинны в преступлениях, потому что с точки зрения морали обычных людей одни были преступниками, а другие — нет. Различие между действиями, расцениваемыми как антиобщественные и не расцениваемыми как таковые, может проводиться очень различными способами в зависимости от времени, места и социального окружения, но оно существует во всех обществах.

Для действий, оцениваемых как антиобщественные или «безнравственные», в определенных случаях могут обнаруживаться смягчающие обстоятельства, и тем более широко они могут обнаруживаться среди слабых и бедных, или сочувствующих им: но это не меняет антиобщественного характера самих действий[I]. Некоторые общества более толерантны, чем другие. Но все признают различие между тем, что есть «преступно» (безнравственно»), а что — нет. Путаница возникает в сознании наблюдателей, которые применяют одни и те же критерии к разным эпохам, местностям или социальным группам (включая сюда «власть»). В такую же ловушку порой попадают исследователи, которые пытаются поставить на одну доску социальный бандитизм и обычный.

Представим себе общество (или субкультуру), очень слабо структурированное, высокоиндивидуалистичное, по сути лишенное верхушки, отрицающее внутреннюю и внешнюю власть — и непривычно терпимое. «Я не считаю, что мы были, как говорится, зашоренными, — вспоминал старик Арки с плато Озарк в 1930-х, — в отношении многих вещей, во всяком случае... Мы никогда не делали ничего дурного, но если кто-то... все время брал, что плохо лежит, он в одно прекрасное утро получал записку на двери, гласящую, что людям надоело, они устали от этого, и советуют ему убираться подобру-поздорову из округа до новолуния. Как нас только ни называли: то плешивыми шишками на ровном месте, то престарелыми охранниками, то ночными всадниками, но для своих мы были просто комитетом»[II]. У деревенских были свои понятия о преступлении — но они были.

I * В «юриспруденции» крестьянских обществ, где люди знают друг друга лично или хотя бы на уровне семьи, обычно нет четкой границы между осуждением действий или осуждением «природы» совершающих их лиц.

II Vance Randolph, *Ozark Mountain Folks* (New York, 1932), стр. 89, 91, цит. в James R. Green, *Grass-Roots Socialism: Radical Movements in the Southwest 1895–1943* (Baton Rouge/London, 1978), p. 336–337.

С другой стороны, «эпидемия банковских ограблений», которая прокатилась по старой индейской территории в тяжелые времена после 1914 года, была несколько иной. Тогда банки грабили не только бандиты, но и обычные граждане. Банкиры Восточной Оклахомы не могли более полагаться на охрану страховых компаний (многие страховые компании отменяли страховки из-за того, что «общественное отношение к банкам стало таким суровым, что стимулировало ограбления») или на местных представителей правопорядка, которые действительно стали симпатизировать грабителям. По сути, «не вызывает сомнений, что среди широких слоев населения распространились очень опасные настроения — что ограбить банк вовсе никакое не преступление»[I]. Ограбление банка могло теоретически преследоваться по закону, как и самогоноварение или нелегальный провоз товаров через таможню (для большинства жителей в 1980-х годах) или парковка в неположенном месте, но это не было настоящим преступлением. Это могло быть, по сути, одобряемым актом социальной справедливости.

Как всегда, граница между одним видом действий и другим или между теми, кто их производит, часто на практике довольно размытая; особенно когда действия одни и те же. Именно поэтому громилы могут становиться объектами восхищения или даже зарабатывать репутацию борцов за справедливость, если будут грабить непопулярные институции (или заставят думать, что они их грабят) и не слишком преследовать обычный народ.

Даже сегодня грабителей поездов не всегда считают врагами народа, хотя в последние годы уже не часто встречаются такие «экземпляры», как Эл Дженнингс, гроза железных дорог индейской территории, который вел мощную популистскую кампанию за губернаторский пост от демократов в 1914-м в Оклахоме, показывая фильмы о своих бандитских похождениях по всему штату при полных залах[II].

Антисоциальный молодчик, изгнанный из своей общины в Озарке, вполне мог объявиться где-то в качестве героя-бандита. Более того, не было четкой границы, особенно в сложные времена, между обычными людьми и изгоями, бродягами, безработными.

I J. R. Green, op. cit., p. 339–342.

II Ibid. P. 340.

Революционеры, которые работали с таким контингентом, могли, подобно вобблис[I], преуспеть в «повышении морали» иных ночлежек путем запрещения выпивки и наркотиков, но, смею предположить, что многие из этих аутсайдеров, ездивших товарными поездами, грабили всех, кого ни попадя, бедных и богатых, даже если ради безопасности им порой приходилось вытаскивать свои документы[II]. Хотя вполне вероятно, они, скорее всего, симпатизировали этой борьбе с несправедливостью. Возможно, что в оседлом сельском мире доиндустриального общества граница между «обычными» и «необычными» людьми была проведена четче, хотя бы потому, что нагляднее было отличие членов сообщества от «чужаков», равно как и внутри сообщества легко различались семьи и отдельные индивидуумы. Ниже определенного уровня статуса и благосостояния неизбежно происходило какое-то пересечение, но разница оставалась, и люди, включая аутсайдеров, ее хорошо сознавали.

Так что какие бы элементы социального неповиновения нам ни встречались в криминальном мире и социальном бандитизме, Макхит и Робин Гуд в действительности не слишком сравнимы, равно как и их последователи. Они слишком по-разному действовали: Робин Гуд мог взывать к добрым чувствам любого человека, если тот не был ему личным врагом или представителем власти; а для обычных бандитов с большой дороги сельская местность скорее напоминала пустыню, чем привольное море, через которую они пробирались, рассчитывая на отдельные известные им оазисы и прибежища, на свою воровскую сеть постоялых дворов и укрывателей краденого[III].

Социальные бандиты были особым типом деревенских жителей, отличающихся от других только способностью выпрямить

[I] Вобблис (*англ.* wobblies) — прозвище членов профсоюза «Индустриальные рабочие мира». — *Прим. перев.*

[II] ИРМ объединял в своих рядах множество рабочих без постоянной работы, ведших полукочевой образ жизни и путешествовавших в товарных вагонах по всей стране в поисках работы и возможностей для политической активности. — *Прим. ред.*

[III] Даже перечисленные заведения часто признавались в оказании услуг под нажимом, что несложно себе представить в случае одиноко расположенных таверн и усадеб.

спину, и в первую очередь — желанием это сделать. Они жили на виду — и не отказывались от своих привычек даже тогда, когда меняли роль бандитов-крестьян на роль вассалов местной знати или государства.

Уголовники жили в своем подполье: это подполье гораздо сильнее отличалось от «правильного» общества, чем наша городская и деловая цивилизация сегодня может воспринять.

Социальные бандиты могли стать, и становились, предметом гордости для своего общества. Простые бандиты оставались героями среди маргиналов и изгоев, если не приобретали репутации социальных бандитов, освобождаясь при этом посредством мифа от преступного статуса.

Даже традиционные сообщества аутсайдеров, в той мере, в которой они являются сообществами, неохотно допускают публичное признание своих героев. И сегодня евреи, готовые признать своими революционеров, отвергших свое еврейство — Маркса или Троцкого, — стыдятся своих Мееров Ланских[1].

Выражал ли уголовник больше социального протеста, чем крестьянин-бандит, — этот вопрос не должен нас задерживать надолго. Ни тот, ни другой не был особым революционером по современным меркам, что в этой книге я и пытался показать. Возможно, в революционные эпохи оба типа могли оказаться в рядах борцов за революцию, хотя свидетельств о таком идейном поведении уголовников во времена великих революций новой Европы почти нет. Вероятно, несколько иначе обстоит дело в Китае.

Следует отметить, что во времена расцвета обеих разновидностей бандитов, революции могли совершаться с помощью сословия, к которому принадлежали бандиты социальные, но не с помощью сообществ уголовных бунтарей. Так было не просто потому, что оседлое крестьянское общество было значительно более многочисленным, чем маргинальные сельские низы, оседлые или бродячие, а потому, что оно было обществом: старым или новым, справедливо устроенным или нет. Исключало оно аутсайдеров или маргинализировало их, оно не меняло своего характера.

---

[1] Исходная фамилия *Сухомлянский*, так называемый бухгалтер мафии, один из знаменитых лидеров американской организованной преступности. — *Прим. перев.*

А они сами, исключая себя из общества, все равно продолжали идентифицировать себя своим отношением к нему и зависели от своих действий в его адрес.

Если эти два социума и жили в симбиозе, как в основном и происходило, то этот симбиоз не был равноправным. «Правильное» общество могло функционировать и без всякого взаимодействия (и без того более чем маргинального) с аутсайдерами, в то время, как последние не могли функционировать иначе как в укромных щелях «правильного» общества.

Таким образом, «правильное» крестьянское общество, включающее крестьян-бандитов, функционировало в рамках «закона» — Божьего и общего обычая, который отличался от закона государственного или местнофеодального, но все же являл собой некоторый общественный уклад. В той мере, в которой оно представляло себе самосовершенствование, это общество полагало нужным вернуться к старым законам или даже дорасти до новых, которые могли принести не только подлинную справедливость, но и свободу.

Аутсайдеры, за исключением в какой-то степени тех, кто принадлежал постоянным структурированным сообществам, таким, как цыгане или евреи, имели только одну возможность — отвергать любой закон: Божий, людской, феодальный и монарший. Именно это и делало их потенциальными или настоящими преступниками. У них не имелось альтернативного видения общества, а также программы (ни неявной, ни тем более явной), только лишь обоснованная обида против общественного уклада, который их отторг, а также отчуждение от него, познание несправедливости. В этом коренится их трагедия.

Без сомнения, имеются достойные причины того, почему некоторые недавние исследователи бандитизма пытались уподобить обычных бандитов социальным бандитам, хотя (подобно Кютнеру) они прекрасно знали о существующих различиях и о частой взаимной враждебности. Не прошло незамеченным и сходство в *modus operandi* уголовных банд с некоторыми из недавних политических рейдеров и террористов. Они точно так же действуют в условиях нелегальности, мобилизуются изредка для специальных операций, в интервалах между которыми они растворяются в анонимности городского общества среднего класса, подобно

тому, как бандиты растворялись в маргинальных слоях населения. Они так же полагаются на сеть поддержки и контактов в масштабе страны или даже мировом, немногочисленную, но широко раскинутую и мобильную.

Возможно, неоанархистский настрой некоторых представителей ультралевых после 1960-х годов способствовал представлению о том, что преступление как таковое является формой революционной деятельности, как уже высказывался Бакунин. Более того, современные экстремисты-революционеры, разочарованные в массах «обычного» рабочего населения, теперь очевидно интегрированного в общество потребления, и готовые искать подлинных и непримиримых врагов статус-кво среди маргинальных групп и аутсайдеров, могут обращаться к маргиналам прошлого, к «бесчестным» низшим классам с большей симпатией, чем это делали старомодные крестьянские бунтари или организованные борцы за дело пролетариата. В самом деле, по всем непредвзятым оценкам они находились в особенно угнетенном и жалком состоянии, у них не было никакой защиты от действий «честного» мира.

Освобождение человечества не может ограничиваться только одними уважаемыми людьми, неуважаемые тоже восстают, но в своей манере. Моя позиция не заключается в несогласии с теми, кто анализирует историю доиндустриальной преступности как вида социального протеста. Я лишь указываю на то, что социальный бунт Макхита из «Трехгрошовой оперы» не тот же, что у Робина Гуда. И их самих сравнивать тоже нельзя.

Пятое направление критики моей книги, и самое убедительное, я уже признал в предисловии к данному изданию. Оно касается моего некритического использования бандитской литературы и легенд в качестве источника. Историческая реальность социального бандитизма, уж не говоря о жизни конкретных бандитов, лишь в незначительной степени может быть извлечена из содержания мифов и песен, сложившихся и слагаемых о них. В той степени, в которой что-то там все же содержится, опираться на это можно только после пристального и критического исследования их текстологической истории, каковое полностью отсутствовало в исходной версии моего изложения. Конечно, это не касается статуса этих текстов как источников информации о том, чем бандитизм был для людской веры, желаний, что они в него вкладывали,

хотя и здесь требуется больше аккуратности, чем я порой демонстрировал.

Следует упомянуть также один случай специфической критики, касающийся сардинского бандитизма, хотя он относится в большей мере вообще к исследованиям Сардинии, чем к моим отдельным отсылкам в предыдущих изданиях «Бандитов»[1]. Отмечалось, что специальная привязка сардинского бандитизма к высокогорной Барбадже, которая считалась зоной преобладания особенно архаичной социальной структуры, возникла только в конце XIX века. Вполне аргументированно подтверждается, что это следствие роста очень специализированной и практически эксклюзивной экономики по экспорту овечьего сыра именно из этих областей. С тех пор это стало принимать форму кражи скота, постепенно все более смыкаясь (с 1960-х гг.) с похищениями или требованиями выкупа. Я не могу судить, в какой степени принимаются экспертами по Сардинии специальные объяснения Дэвида Мосса. Он объясняет этот феномен в терминах отношений между высокогорными и долинными деревнями, которые устроены по-разному («деятельность, которая связывает противоположные ценности, но и сохраняет присущие им различия»).

И наконец, авторы, которые, приняв мою модель «социального бандитизма», справедливо критиковали меня за ограничение ее рамками аграрных обществ докапиталистического периода. Очень сходные явления происходили в Австралии XIX века и США XIX–XX веков и при этом очевидно не относились ни к «традиционному крестьянству», ни к докапиталистическим или доиндустриальным обществам. Как высказался один из исследователей этой темы (Л. Гленн Серетан): «социальный бандитизм более многообразен и живуч, чем предполагает Хобсбаум... и случайности американской (или любой другой) исторической эволюции вполне могли способствовать возникновению каких-то аутентичных вариантов — даже в годы рузвельтовского "Нового курса"».

С другой стороны, я не могу принять аргумент моего главного критика-«модерниста», Пэта О'Мэлли — эксперта по Неду Келли

---

[1] David Moss, Bandits and Boundaries in Sardinia, *Man*, NS, vol. 14, 1979. P. 477–496. См. также John Day в B. Vincent, ed., *Les marginaux et les exclus dans l'histoire* (Paris, 1979). P. 178–214.

и австралийским бушрейнджерам, — который рассматривает социальный бандитизм в традиционно крестьянской среде как особый случай более общей ситуации, по-видимому весьма благоприятной для появления социального бандитизма. А именно:

– а) «наличие хронической классовой борьбы, отраженное в едином конфликтном сознании у непосредственных производителей»

– б) «отсутствие институциональной политической организации, представляющей интересы производителей, которая выражала бы программу эффективных действий для совместного достижения общих целей».

В самом деле, второе условие главным образом присуще доиндустриальной эпохе, но может встречаться и позднее. По тем же причинам О'Мэлли скептически относится к моему предположению о том, что закат социального бандитизма связан с прогрессом в транспорте, коммуникациях и усилением правоохранительных органов в сельской местности. Он полагает, что социальный бандитизм может процветать независимо от этого. Его собственные последующие работы, однако, утверждают, что английские разбойники исчезли в начале XIX века, столкнувшись с улучшением организации и методов работы полиции, хотя он приписывает это «нехватке у них общей социальной классовой базы»[1].

На самом деле здесь практически нет предмета спора. Конечно, бандитизм как социальное явление сдает позиции, когда возникают лучшие способы борьбы сельских жителей. Я это говорил на протяжении сорока лет.

Столь же приемлемо и утверждение о том, что привлекательность социального бандитизма не полностью исчезла даже в явно капиталистическом обществе, таком, как в США, учитывая, что в этом обществе легенды о благородных ковбоях и крутых рейнджерах являются частью массовой культуры. Такой была ситуация в США 1930-х годов. «Главные бандиты 1930-х прекрасно понимали, что они принадлежат традиции: они на ней выросли, она их воспитала; они выражали ей пиетет словом и делом; и траектории

[1] Pat O'Malley, Social bandits, modern capitalism and the traditional peasantry. P. 489–499. См. также: *The Class Production of Crime: Banditry and Class Strategies in England and Australia* (мимеограф, б.г.).

их кратких ярких жизней в конечном счете тоже определялись ею». Бонни Паркер и Клайд Барроу, Робин Гуд и Джесси Джеймс были живы-живехоньки и разъезжали по прериям на автомобилях в сознании таких людей, как Элвин Карпис.

Ничто из вышесказанного не отменяет того факта, что в полностью капиталистическом обществе условия для выживания или возрождения социального бандитизма по старой модели являются исключением. Они будут исключительными даже тогда, когда для разбойничества появляется гораздо большее пространство, чем в предыдущие века, в тысячелетие, ознаменованное ослаблением или даже исчезновением современной государственной власти и общей доступностью малогабаритных (но с высокой поражающей способностью) средств уничтожения неофициальных вооруженных группировок.

В действительности совершенно неудивительно, что в самых «развитых странах» — даже в самых традиционалистских сельских областях — робины гуды на сегодняшний день вымерли по практическим причинам. Анализ моей книги был нацелен скорее на объяснение заката этого векового и широкого распространенного явления, чем на определение возможных условий его случайного возрождения или выживания.

Тем не менее есть необходимость сказать немного и о выживании и модификации социального бандитизма в полностью капиталистических аграрных обществах.

II

Переход к капиталистическому сельскому хозяйству сложен и долог. Значительная часть сельского хозяйства продолжает вестись силами фермерских семей, которые на самом деле (если не брать в расчет технологии) не так уж далеко ушли от крестьян старой школы (от которых добрая часть их и происходит), поэтому имеется множество совпадений — разумеется, культурных — между старым и новым сельскими мирами. Даже в тех случаях, когда новые миры оказались за океаном. В конце концов, фермерство остается индустрией малых предприятий, в сравнении с масштабами операций в промышленности и финансах, и не в последнюю очередь в плане количества занятых работников. Кроме того, древняя

враждебность села к городу, деревенских к аутсайдерам, явным образом сохраняется в форме конфликтов между интересами фермеров, как бизнес-группы, и остальными, о чем свидетельствует проблема ЕС. Таким образом, в сельской местности прогресс капиталистической экономики создает некое пространство — другой вопрос, как надолго — для определенной «модернизации» социального бандитизма.

Это создает новые цели для народного недовольства (включая и капиталистических фермеров), а следовательно, и новых «врагов народа», от которых бандиты могли бы защищать народ. Сельские сообщества Бразилии и США не разделяют городского энтузиазма перед железными дорогами, отчасти потому, что хотят держать правительство и приезжих подальше, а отчасти потому, что расценивают железнодорожные компании как эксплуататоров.

Бразильские *кангасейруш* сопротивлялись прокладке железных дорог, а губернатор Миссури Криттенден провозгласил убийство Джесси Джеймса «освобождением государства от большой помехи на пути к процветанию и получением большого стимула к развитию торговли недвижимостью, железнодорожных перевозок и притока иностранных рабочих рук».

Однако самым очевидным новым бедствием, из многих обрушившихся на сельское хозяйство, были банки и ипотека. Как мы уже видели, мелкие фермеры в Австралии, аргентинские и американские пограничные фермеры остро это чувствовали.

Бушрейнджеры Неда Келли вообще не практиковали грабежи на большой дороге, зато концентрировались на банковских ограблениях. Братья Джеймс были знамениты своей специализацией по банкам и железным дорогам. Мы также видели, что во времена Великой депрессии не было, вероятно, ни одного сельского жителя на Юго-Западе и фермера прерий (за редким исключением), которые не считали бы эти действия естественными и справедливыми.

Мате́ Косидо не грабил аргентинские банки (естественную цель) главным образом по той причине, что местные фермеры видели в иностранном капитале еще более ужасного посланника безличного капитала, чем в отечественном.

Сторонники Яношика и Музолино слыхали о долгах, но только в настоящей капиталистической экономике банковские

кредиты, закладные и т. п. стали главными проявлениями того, в чем фермеры и крестьяне видели эксплуатацию их труда, а кроме того, причинами, которые объединяли недовольство сельского населения с недовольством ремесленников и мелких торговцев. В этом отношении период, в котором такие институции, как банки, превращаются в главных общественных злодеев, а банковские ограбления — в самую легко принимаемую форму ограбления богатых, может быть обозначен как период адаптации социального бандитизма к капитализму.

Это могло быть только частичной и временной адаптацией, хотя ясно, что глянцевый образ деревенского, провинциального парня (а после Бонни и Клайда — и девушки) как своего рода социального бандита сохранялся в США вплоть до Великой депрессии 1930-х. Этот же глянец украсил такие фигуры, как Диллинджер и Красавчик Флойд, и стал, вероятно, одной из решающих причин, почему эти скорее мелкие и маргинальные фигуры для американской преступности выделились как «враги общества». В отличие от своей «банды», они являли вызов общеамериканским ценностям свободного предпринимательства, хотя сами в него верили. Кроме того, как уже указывалось в случае с братьями Джеймс, в те времена, когда жили последние, грейнджеризм и популизм стали более адекватными ответами на проблемы, стоявшие перед сельским Средним Западом, чем грабежи. В политике это стало анахронизмом[1].

Социальное пространство для бандитизма постоянно сужалось, и хотя братья Джеймс продолжали пользоваться старинной репутацией робин гудов (которая отчасти воспроизводилась их народной популярностью и самим образом жизни), при более тщательном рассмотрении мы видим их как сельских предпринимателей — хотя и «сохраняющих нетронутыми многие привычки и предрассудки своего класса». Они определенно не относились к беднякам, были старшими сыновьями в преуспевающей фермерской рабовладельческой семье (подобно большинству партизан-конфедератов графства Джексон, штат Миссури, где и воз-

[1] Мои суждения о братьях Джеймс в большой степени построены на крайне ценной работе Ричарда Уайта «Western Outlaws and Social Bandits», откуда я очень много позаимствовал.

никла банда Джеймсов), вставшей на защиту своего имущества и статуса[I].

На примере сардинских горцев хорошо заметно влияние современной капиталистической экономики на традиционный тип бандитизма, которое усугубило превращение бандитов-пастухов в похитителей людей, систематически вымогающих огромные выкупы.

До 1960-х годов похищения были скорее спорадическим явлением, а мотивом столь же часто, как и выкуп, выступала месть. Новая волна похищений стала прямым следствием резкого и масштабного развития в это десятилетие экономики сардинских долин и побережья. В некотором роде это можно воспринимать как элемент сопротивления традиционного общества надвигающейся модернизации. Бедные и нуждающиеся горцы, обойденные большим бумом, противостоят нуворишам с побережья, местным и иностранным. И конечно, здесь сохранялись признаки старого пастушеского бандитизма, сурового, но со своей этикой[II]. Но новые методы все больше становились средствами для быстрого получения крупных сумм (если не для самих пастухов-похитителей, то для их *prinzipales* и других горцев-предпринимателей, которые их подговаривали и нанимали), вкладываемых затем в дорожающую недвижимость на побережье: бандиты сливались с мафией[III], а социальный протест терялся в тени криминального бизнеса.

Таким образом, роль сельского социального бандита трансформируется на своей финальной исторической стадии, и лишь немногие сегодня в самом деле считают, что Робин Гуд еще не находится на пути к полному и окончательному закату. Эта роль

[I] Dob R. Bowen, Guerrilla War in Western Missouri, 1862–65, *Comparative Studies in History and Society*, 19, 1977. P. 30–51.

[II] Ср. обращение похитителей с британской подданной и ее дочерью в 1979–1980 годах; местные восприняли как возмутительное бесчинство нарушение бандитами достигнутых договоренностей, что способствовало освобождению заложниц.

[III] Ср. Alberto Ledda, *La civiltà fuorilegge; natura e storia del banditismo sardo* (Milan, 1971). P. 94–106. Об экономике итальянских сельских похищений в Калабрии см. P. Arlacchi, «The Mafia and Capitalism», New Left Review, no. 118, 1979. P. 53–72, и особенно L. Ciconte, *Ndrangheta dall'unità a oggi* (Bari, 1992). P. 325–329.

играется на новой сцене современного капиталистически-индустриального общества, в новом социальном, экономическом и технологическом ландшафте, и, возможно, новыми актерами, которых уж нельзя адекватно описывать как традиционалистских крестьян, представителей старого общества, сражающегося с новым, или защитников сельской бедноты.

Сельский бандит понемногу может даже высвобождаться из провинциальной среды и перебираться в город. Банда Джеймсов лишь изредка посещала свои родные пенаты в Западном Миссури после 1873 года, обнаружив (как указывает Фрэнк Джеймс), что залогом безопасности скорее является анонимность, чем поддержка сельских сторонников. Джеймсы не позволяли себя фотографировать, лишь немногие знали их в лицо даже в графствах Клэй и Джексон, а опирались они в основном на родню, нежели чем на широкое сообщество, хотя, вероятно, обычные бандиты тоже предпочитали кровных родичей.

Анонимность гораздо легче достигалась в городе, и именно там, судя по всему, и осели Джеймсы. Ведь секретам место в городе, а за городом наоборот — все становится сразу известным, по крайней мере местным. Даже сегодня бывают случаи, когда сельские жители коллективно скрывают информацию от чужаков, как в Северном Уэльсе, когда единодушное молчание защитило поджигателей домов англичан от полицейского расследования[1]. Однако, возможно, сегодняшние подобия сельской омерты (как это назвали бы сицилийцы) базируются на таких идеологических формах, как современный национализм, к которому классические социальные бандиты еще не могли прибегать или же делали это только от случая к случаю.

Бандитский миф сохраняется также в современном урбанизированном мире в качестве своего рода народной памяти, которая

[1] Движение «Сыны Глиндула» возникло в 1979 году в качестве ответа на жилищный кризис в регионе, вызванный резким повышением цен на жилую недвижимость (летние дома) в результате ее активной скупки выходцами из Англии. Несмотря на противодействие полиции, было сожжено порядка 220 принадлежавших англичанам домов, в т.ч. купленных парламентариями от Консервативной партии. Организационная деятельность была прекращена в сер. 1990-х, его основные участники так и не были раскрыты. — *Прим. ред.*

иногда получает второе дыхание: на общественном уровне через медиа или на частном — через обиду и возмущение слабых. У каждого есть личный опыт несправедливого обращения со стороны других людей или институтов, а бедные, слабые и беспомощные имеют этот опыт с лихвой.

И в той мере, в которой бандитский миф воплощает не только свободу, героизм и мечту о всеобщей справедливости, но и более конкретно — частное сопротивление против частной же несправедливости, исправление допущенной в отношении лично *меня* несправедливости, в этой мере сохраняется и живет идея частного борца за справедливость, в особенности среди тех, кому не хватает коллективных организаций, главной линии обороны от подобных несправедливостей.

На дне современного городского общества полно людей, которые так это ощущают. Возможно, по мере отдаления государства и сворачивания таких органов, как профсоюзы в секторальные системы самообороны (как это происходит в некоторых странах), привлекательность таких грез о частном сопротивлении и частной справедливости будет возрастать.

Я сомневаюсь, что в нашем обществе бандиты станут теми фигурами, которые главным образом выражают эти мечтания. Джесси Джеймс и даже Джон Уэйн не могут больше соревноваться с Бэтменом и ему подобными. Так что не думаю, что стоит тратить дальнейшее время на проблематику выживания классической бандитской мечты в большом городе.

Тем не менее в 1960-х и 1970-х годах к истории традиционного социального бандитизма образовался любопытный постскриптум. Стратегии социального бандитизма, в некотором роде и его дух и его идеалы, были перенесены на новую социальную почву (а именно в среду небольших организаций молодежи среднего класса, которые образовали ядро неореволюционных группировок), время от времени находили широкий отклик на безмерно разросшихся университетских кампусах тех десятилетий и пытались обращаться напрямую к неорганизованной бедноте и особенно к отчуждаемой маргинальной и деклассированной части общества, минуя рабочий класс и старые рабочие движения (любой политической окраски). Здесь предлагались аналогии с русскими интеллектуалами — *народниками*.

Значительная часть нового молодежного культурного и политического диссидентства описывалась как своего рода «примитивные мятежники», в частности французским социологом Аленом Туреном. Некоторые из них действительно могли видеть себя в таком ключе[I]. На ум приходят некоторые образцы такого неопримитивизма (в идеологической обертке того периода). «Симбионистскую армию освобождения» (1973–1974), в остальном вполне проходной эпизод на буйной периферии калифорнийской отчужденности, можно сравнивать со старомодным частным сопротивлением по той одной причине, что она явным образом осуществила как минимум один публичный акт ограбления богача (Уильяма Рэндольфа Херста-мл.), чтобы раздать бедным награбленное (шантажом вынудив его раздавать еду). Сходство «Армии» с классическим социальным бандитизмом было не только в символическом восприятии этого распределения[II] и в нацеленности в первую очередь на устранение частной несправедливости — освобождение заключенных из-за решетки всегда привлекательно для силовых политических группировок, — но и в краткости ее существования.

Другие подобные активистские группы, возникавшие из пепла мирового студенческого брожения конца 1960-х, также демонстрировали склонность к операциям, к которым Джесси Джеймс отнесся бы с пониманием, а именно к «экспроприациям» (см. Главу 9), которые в итоге достигли масштабов эпидемии в 1970–1980-х годах. Однако, в отличие от других подобных погружений в политическое насилие, САО не была связана с более широкими революционными организациями, стратегиями, теориями или движениями, поэтому неопримитивизм ее доморощенных идей и действий более очевиден.

[I] По поводу понятия «примитивных мятежников» см. мою книгу «Primitive Rebels» (New York: Norton, 1965), которая, видимо, ответственна за то распространение, которое получил этот термин. Я отдаю себе отчет в том, что часть бунтовщиков из Беркли 1960-х считает, что увидела себя в социальных бандитах и прочих персонажах этой книги, которую читали более академически настроенные левые.

[II] Когда им сообщили, что на выполнение их требований у Херста не хватит денег, они отвечали: «Никогда не подразумевалось, что вы накормите весь штат... Так что, на что хватит, то и сойдет». John Bryan, *This Soldier Still At War* (New York/London, 1975). Я заимствовал информацию о САО из этой книги, к которой привлек мое внимание Ральф Глисон, мой покойный друг.

Традиционные бандиты опирались на родню, соседей и сообщество. Симбионисты были по происхождению одиночками, никто из них не знал и не слышал друг о друге до встречи в субкультурном гетто Ист-Бэя, подобно тому, как камешки гальки сталкиваются на отмели, будучи вынесены туда в потоках сложной речной системы.

Хотя большинство из одиннадцати главных членов группы относились к категории студенческой интеллигенции, их, по сути, не объединял обычный катализатор революционных студенческих групп: связь между теми, кто учится одновременно в одном университете или на одном факультете. Беркли–Окленд просто оказались для них центрами притяжения, независимо от того, кто где учился.

Эти новые мятежники жили не в сообществе — если не рассматривать в строго географическом смысле, — а скорее в среде отвергающей «буржуазные» ценности, Латинском квартале или на Монмартре, объединяемые неформальной изменчивой социабельностью улицы, жилища, манифестации или вечеринки, общим *богемным* образом жизни, общей риторикой диссидентской субкультуры, которая сама видит себя революционной, и сексуальным притяжением — возможно, самым сильным из отдельных факторов, сплачивающих эту конкретную группу людей. Именно поэтому женщины, обычно нерелевантные или даже разрушительные для традиционных бандитских отрядов, здесь были важнейшим цементом (будь они гетеро- или гомосексуальны). Единственной моделью подлинного мини-сообщества, помимо воспоминаний о буржуазной семье, были «коммуна» и маленькие, крепко спаянные, оживленные группки революционных активистов, некоторое количество каковых образовалось скорее путем дробления, чем сочетания на периферии университетского движения. Политический язык САО возник в основном оттуда.

Напомню, что «примитивных мятежников» объединяет общий и унаследованный набор общественных ценностей и убеждений, настолько сильный, что он вряд ли нуждается (да и вряд ли поддается ей) в формальной артикуляции. Его нужно только применять. Но за исключением лексикона «Декларации независимости», который отдается эхом по манифестам группировки, у этих неопримитивистов не было общего запаса идей.

Им приходилось транслировать свой личный опыт отчуждения в формализованную идеологию, или скорее риторику, слепленную из случайных обрывков революционного лексикона «новых левых», калифорнийского ориентализма и заумных общих фраз. Это приняло форму смутных упражнений в декларативном красноречии, подошедших близко к практике только в нескольких негативистских требованиях: отказ от тюрем, отказ от «рентной системы эксплуатации» в домах и квартирах и — призыв к системе «не загонять людей в личные отношения и не заставлять в них оставаться, если они сами этого не хотят»[1].

Это было выкриком людей не находящих себе места, обращенном против жестокого и атомизированного общества. Но он давал им только оправдание для символических жестов насилия, для утверждения своего существования посредством привлечения внимания через отражение в увеличительном зеркале медиа, для легитимизации образа жизни небольших подпольных активистских групп, который заменил для них и сообщество, и общество. Члены группировки обрели личное «возрождение» внутри нее, выбрали новые имена и разработали собственную символическую систему.

Подполье как свободный частный выбор, подпольные действия, вырванные из социальной и политической реальности: это то, чем отличаются от классического социального бандита его поздние имитаторы или аналоги. Большинство героев этой книги не выбирали преступную дорожку (кроме тех случаев, когда бандитизм был признанным способом заработка и проживания, наподобие профессиональной карьеры). Их толкали на это события, которые ни ими, ни их обществом не рассматривались как преступления, а все остальное было уже лишь следствием. Максимум, что можно было бы здесь утверждать, — это то, что крутые ребята, вряд ли готовые покорно сносить несправедливость или обиду, также с большой вероятностью попадали в подобные переделки. Это связывает классических социальных бандитов с такими людьми, как чернокожие заключенные. Последние определенно находились среди вдохновителей и ролевых моделей для

[1] Bryan, *This Soldier Still At War*. P. 312. В этой книге содержится подборка документов САО.

групп аналогичных САО, хотя общество, ставящее на значительной части своего чернокожего деклассированного пролетариата клеймо тюремного заключения, имеет очень мало общего с тем обществом, которое порождало незначительную маргинальную горстку *кангасейруш* или гайдуков.

В САО и, без сомнения, других, сходных и даже политически более серьезных группах могли встречаться люди такого типа — и они действительно там оказывались, потому что группы в поисках народных корней и идеологической легитимизации прилагали большие усилия, чтобы привлечь символические фигуры чернокожих, латиноамериканцев или пролетариев. Но несмотря на это, основная часть их членов происходила из совершенной другой социальной среды. Они — дети представителей средних классов (как бы их ни определять в каждом случае), а зачастую и из их верхушки (хотя и вряд ли в случае САО).

Аргентинскими институтами, разрушенными террором военной расправы с вооруженными повстанцами, стали старшие классы элитных школ. Подобные активисты делали свободный выбор в пользу преступной деятельности. И самое большее, что можно сказать, это то, что в 1960-х и 1970-х годах по причинам, выходящим за рамки проблематики данной книги, этот свободный выбор скорее делали выходцы из средних классов и элит.

Опять же действия классического социального бандита, профессиональные или «политические», составляют часть ткани его общества и в некотором смысле логически из нее вытекают. Бóльшая часть этой книги посвящена демонстрации того, почему это так. Действительно, как я утверждал, они настолько вплетены в эту ткань, что не являются по сути революционерами, хотя в определенных обстоятельствах могут становиться таковыми. Их действия могут иметь символическое значение, но они направлены не против символов, а против определенных и, если угодно, естественных целей: не «системы», а шерифа Ноттингемского.

Бывают, особенно среди террористических групп с высокой организацией и технологией, с хорошей политической информированностью, и отдельные атаки, нацеленные на конкретных людей, от которых ожидаются определенные результаты: как, например, убийство Карреро Бланко баскской ЭТА. или похищение

и убийство Альдо Моро итальянскими Красными бригадами. В таких случаях сама сложность политических расчетов, стоящих за атакой, подразумевающая очень высокий уровень информированности о высшем уровне национальной политики, устанавливает значительную дистанцию между этими лицами и той сферой, где обычно действуют социальные бандиты, старые или новые[1].

С другой стороны, в большинстве случаев списки потенциальных целей, иногда обнаруживаемые в бумагах схваченных неоробин гудов, включая членов САО, весьма произвольны, кроме тех инцидентов, когда они ввязываются в личную схватку полицейских и воров и сосредотачиваются в первую очередь на обороне, защите и освобождении арестованных и заключенных товарищей. Этим деятельность таких групп, как правило по психологическим причинам, и ограничивается. Их отношение к декларируемым группами политическим целям становится все более косвенным. В остальном возможные жертвы, поскольку они главным образом символизируют «систему», могут легко заменяться на других: еще один банкир вместо покойного Понто, еще один промышленник вместо покойного Шлейера становятся жертвами «Фракции Красной армии». Более того, в случае таких символических жертв от акции не ожидается никаких определенных политических последствий, кроме того что публично подтверждается существование и сила революционеров, их деятельности.

В этой точке обнаруживается сходство между старыми бандитами и новыми активистами, хотя оно и подчеркивает фундаментальное различие их социальных контекстов. В обоих случаях главной целью действий является «миф». Для классического бандита он является наградой сам по себе, для нео-бандитов его ценность в предполагаемых для пропаганды последствиях, да и в любом случае, согласно самой природе таких подпольных групп, миф должен

---

[1] Так, расчет на то, что исчезновение Альдо Моро уничтожит шансы на достижение «исторического компромисса» между Христианско-демократической и Коммунистической партиями, главным сторонником которого был он (в среде христианских демократов), мог быть сделан в Италии только профессиональными политиками высшего класса или интеллектуалами; теми из них, кто крайне глубоко погружен в те тонкости, что заполняют колонки парламентских журналистов, но представляют крайне малый интерес для масс итальянцев, пусть даже и будучи им понятными.

быть коллективным, а личности, как правило, остаются анонимами[1]. Но в обоих случаях сутью является то, что мы бы сегодня назвали «публичностью». Без него ни бандиты, ни группы не получали бы публичного существования. Однако природа этого существования изменилась коренным образом с появлением массмедиа.

Классические бандиты строили свою репутацию на прямом контакте со своей родной средой с помощью устной культуры. В примитивный эквивалент массмедиа — баллады, брошюры и т.п. — они попадали уже обладая какой-то репутацией.

Некоторые из персонажей этой книги так никогда и не перешли от устной и личной (лицом к лицу) репутации к более широкому мифу — например, Мате́ Косидо из аргентинского Чако (насколько нам известно). На позднем этапе истории социального бандитизма некое подобие современного массмедиа уже начинает подхватывать и распространять бандитский миф: возможно, в Австралии во времена Неда Келли, в США во времена Джесси Джеймса, вероятно, в Сардинии XX века (хотя такие знаменитые бандиты региона, как Паскуале Тантедду, несмотря на свою тягу к публичности, приобретали славу за пределами своего региона только среди интеллектуалов и с их же помощью) и уж определенно в эпоху Бонни и Клайда.

И все же медийная известность оставалась по большей части дополнительным бонусом в довесок к справедливой награде бандитской славы. Сегодня медиа полностью доминируют, вероятно оставаясь единственными создателями мифа. Более того, у них есть возможность осуществить мгновенное и при нужных обстоятельствах широчайшее освещение того или иного события, которого не было ни в одной из предыдущих эпох (постулат Уорхола о «15 минутах славы» для каждого не мог быть сформулирована в немедийном мире). У мифа, созданного медиа, есть свой недостаток — встроенная недолговечность, ведь его создает экономика, адаптированная к одноразовым душам,

[1] Практически без исключений все названия анонимным акциям дают власти или оппоненты той группы, которой принадлежит авторство акции — например, кто прозвал «Фракцию Красной армии» «бандой Баадера — Майнхоф». Другой вопрос, насколько безымянные люди, которых так прозывают, получают удовлетворение от своей публичной репутации.

так же как и к одноразовым пивным банкам, но это может быть сбалансировано повторяемостью акций, которые обеспечивают медийное освещение. Однако в этом отношении черепаха классического бандита может обогнать электрического зайца его последователей. Никто никогда не спрашивает «Что случилось с Джесси Джеймсом?», но многим, даже сегодня, нужно напоминать, кем была Патти Херст. И все же «Симбионистская Освободительная Армия» завоевала свою краткую известность с той скоростью и в том масштабе, которые (пока она действовала) значительно превосходили распространение сведений о достижениях живого Джесси Джеймса.

Политический имидж и эффективность новых робин гудов достигаются, таким образом, не благодаря непосредственно самим акциям, а через успешное попадание на первые полосы газет и в прайм-тайм новостных программ, и акции планируются главным образом для достижения именно этой цели. Отсюда возникает тот парадокс, что некоторые из действий, которые классический бандит употребил бы для создания своего мифа, его последователи предпочитают не афишировать, поскольку они создают неправильный имидж (например, образ преступника в противоположность образу политического боевика).

Львиная доля похищений для выкупа и банковских ограблений, благодаря которым боевики собирают порой довольно значительные средства для своей обычно дорогостоящей деятельности, в нынешних обстоятельствах, несмотря на значимость публичной атаки на богатых, почти наверняка остаются анонимными и неотличимыми от прочих профессиональных ограблений или похищений[1]. Лишь немногие «экспроприации» подавались

---

[1] Подлинно народные активисты не всегда могут противостоять инстинктам Робин Гуда даже в таких случаях, но, так сказать, в частном порядке. Так, боевик из рабочих вспоминает о возвращении с ограбления банка на нелегальную конспиративную квартиру: «Прямо перед дверью дома... сидит нищий с шляпой в руках и спрашивает, нет ли у меня денег. "Парень, — говорю я ему, — нет ли у меня денег!" И я ему ссыпал всю мелочь в шляпу, которой оказалось так много, что она высыпалась на пол, а этот парень мог только проговорить: "Долгих тебе лет, ты лучший человек на свете". А я ему: "Парень, у меня просто хорошее настроение. Жизнь проста, надо просто быть в нужное время в нужном месте. Мне вот так повезло, а теперь тебе повезло эдак, не бери в голову". И пошел дальше» (Bommi Bauman, *Wie Alles*

как дело рук таких групп, если только из этого не могли извлекаться определенные политические дивиденды — например, раскрытие темных дел каких-то известных вкладчиков (уругвайские Тупамарос были сильны в такой «политизации» банковских ограблений, которая отвлекала внимание от реального содержания акции — грабежа).

И напротив, подобные акции не становились публичными потому, что были направлены против тех целей, которые в сознании граждан уже воспринимались как враждебные обществу, хотя политические активисты часто выбирали их по этой причине. Имя Уильяма Рэндольфа Херста, жертвы САО, может до сих пор вызвать содрогание у старшего поколения американских радикалов и, возможно, интеллектуалов-киноманов, но факт принадлежности Понто к известным банкирам, а Шлейера к представителям индустриального капитала определенно не ###прибавлял симпатий «Фракции Красной армии» в Западной Германии, если не считать очень узкие круги тех, кто уже симпатизировал подобной боевой деятельности небольших группировок.

Возможно, нападения на полицейских все еще могут давать подобный эффект. Однако первые полосы могут быть с тем же успехом завоеваны информацией о нападениях на совершенно случайных людей. Спортсмены во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года, обычные посетители английских пабов, убитые бомбами ИРА, или же персоны, являющиеся подходящими мишенями для достижения тайных целей группировки (например, полицейские информаторы) — для публики все они представляются рядовыми гражданами.

И в той степени, в которой целью акции становятся, таким образом, случайные и произвольные жертвы в чужой войне, все сходство между старым и новым «социальным бандитизмом» заканчивается. Остается лишь демонстрация того, что небольшие группы безымянных преступников, известных только под абстрактными

Anfing, Munich, 1975, p. 105). Эта книга, крайне критично относящаяся к «Фракции Красной армии», является ценным описанием деклассированной и маргинальной молодежной субкультуры, пропитанной роком, блюзом и гашишем, из которой могло вырасти нечто похожее на старую анархо-богемную среду. Но Бауман нетипичен для западногерманской «городской герильи» и, как показывает его книга, сознает свою нетипичность.

или бессмысленными кличками или инициалами, бросают вызов официальным структурам власти и законности[I].

В задачи данной книги не входит рассмотрение политической эффективности или оценка теоретических или других обоснований, которые выдвигаются в отношении текущего возрождения индивидуальных или групповых боевых акций. Моей целью здесь является просто наблюдение за сходством и различиями между ними и «социальным бандитизмом», а также их связь с традициями, наследием и принципами действия. Некоторое родство тут можно найти, хотя лишь одна или две из группировок такого рода (за исключением неоанархистов[II],), наиболее удаленных от самых влиятельных господствующих установок революционной идеологии, стратегии и организации, демонстрируют какие-либо заметные признаки неопримитивизма. С позиций данного исследования классического социального бандитизма это отношение лишь маргинальное, возможно, по касательной. Дальнейшее изучение этих явлений может быть оставлено исследователям капиталистического общества конца XX века. С другой стороны, *прямое* продолжение мифов и традиций классического социального бандитизма в современном индустриальном мире имеет значение для замысла данной книги.

В некотором смысле это дело живо до сих пор. В конце 1970-х годов в Мексике один мой воинственный и полный энтузиазма читатель предложил активистам крестьянского движения на северо-востоке этой страны почитать мою книгу «Примитивные мятежники» (глава которой о бандитизме трансформировалась в настоящую книгу). Я не буду гадать, какие именно цели он преследовал. У бойцов «*Campamiento Tierra y Libertad*» книга пошла с трудом, что не слишком удивительно. Они ее по большей части не поняли, не увидели смысла в прочитанном. Но одну

[I] Эти наблюдения, естественно, не относятся к тем движениям, которые можно полноценно определить как городские или сельские народные партизанские движения, такие, как, например, Временная Ирландская республиканская армия в католическом Ольстере.

[II] Следует отметить, что между подобными неоанархистскими группировками и крохотными сохранившимися группами старых анархистов после 1968-го не существует практически никакой прямой и исторической родственной связи.

часть они поняли, и она для них была осмысленной: часть о социальных бандитах. Я упоминаю об этой дани уважения со стороны неожиданной и непреднамеренной аудитории не только потому, что такой опыт всегда льстит автору, но и потому, что обитателей края Уастека Потосина можно рассматривать как квалифицированную, компетентную и, без сомнения, в прошлом опытную группу критиков и комментаторов по данной теме. Это не служит доказательством правильности анализа, предложенного в «Бандитах». Но может придать читателям моей книги больше уверенности в том, что это нечто большее, чем просто упражнение в собирательстве древностей или в академическом теоретизировании. Робин Гуд, даже в своих наиболее традиционных формах, все еще что-то значит в сегодняшнем мире для таких людей, как эти мексиканские крестьяне. Таких людей много. И они должны знать.

Дополнительная литература

Со времен более ранних изданий настоящей книги сравнительное изучение истории бандитизма заметно продвинулось, хотя в целом остается скорее региональным, чем становится глобальным. Большая часть работ возникает по результатам многочисленных конференций и семинаров по истории бандитизма, что свидетельствует о живости темы. Библиография огромна, но, отчасти по причинам языкового барьера, я не могу претендовать на достаточное знакомство с литературой за пределами Западной и Центральной Европы и двух Америк.

Ранняя история бандитизма впервые появляется в книге Фернана Броделя "Miseère et banditisme" (Annales ESC, 2/2, 1947), а в его великой *The Mediterranean and the Miditerranean World in the Age of Philip II* (Paris, 1949 — оригин. изд.)[1] уже привлекает значительное внимание.

Следующие исследования о бандитизме в древние времена охватывают почти всю Европу, кроме России и Польши: Brent Shaw "Bandits in the Roman Emprire" (Past & Present, 105, 1984. P. 3–52), G. Ortalli, ed., *Bande Armate, Banditi, Banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime* (Rome, 1986) и Fikret Adanir, Heiduckentum und osmanische Herrschaft: Sozialgeschichtliche Aspekte der Diskussion um das frühneuzeitliche Räuberwesen in Südosteuropa (Südost-Forschungen, vol. XLI, Munich, 1982, c. 43–116).

См. также важные работы Karen Barkey, *Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization* (Ithaca/London, 1994), R. Villari, Banditismo sociale alla fine del Cinquecento в его *Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo* (Rome, 1979) и P. Benadusi, Un bandito del '500: Marco Sciarra. Per uno studio sul banditismo al tempo di Sisto V (*Studi Romani*, 1979).

---

1 *Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры. Ч. 1: Роль среды. 2002; Ч. 2: Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. 2003; Ч. 3: События. Политика. Люди, 2004.

Вероятно, столь же значимы исследования (в основном итальянские) о легальном статусе бандитизма и о методах борьбы с ним. В дополнение к Ortalli, op. cit., см. D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale* (Milan, 1978) и L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime* (Milan, 1988).

Монографии национального, регионального и даже местного уровня продолжают составлять большой массив литературы. За исключением Латинской Америки здесь до сих пор преобладают классические регионы бандитизма: Средиземноморье, Восточная и Юго-Восточная Европа.

Однако ситуация становится благоприятнее и с корпусом важных исследований по КИТАЮ, теперь есть ряд работ на английском языке. Phil Billingsley, *Bandits in Republican China* (Stanford, CA, 1988) является базовой, как и Jean Chesneaux, *The Modern Relevance of Shui-hu Chuan: Its Influence on Rebel Movements in Nineteenth- and Twentieth-Century China* (Papers on Far Eastern History, 3, Canberra, Mar 1971, с. 1–25). Также рекомендую Jean Chesneaux, ed., *Popular Movements and Secret Societies in China 1840–1950* (Stanford, 1972) и Elizabeth J. Perry, *Rebels and Revolutionaries in North China 1845–1945* (Stanford, 1980).

В других частях Азии дело обстоит хуже. Есть несколько исследований бандитизма в Индии, который фигурирует в индуистских религиозных традициях. Тем не менее монументальные собрания этнографических заметок колониальных администраторов XIX века (например, R. V. Russell, *The Tribes and Castes of Central India*, 4 vols, London, 1916) остаются пока базовым источником.

Есть важная глава Жака Пушпадаса о «преступных племенах» в B. Vincent, ed., *Les marginaux et les exclus dans l'histoire* (Paris, 1979. P. 122–154).

Дэвид Шульман обсуждает бандитизм во имя божества в "On South Indian Bandits and Kings" (*Indian Economic and Social History Review*, vol. 17/3, Jul.-Sep. 1980, с. 283–306).

Труд Amy Carmichael, *Raj, Brigand Chief: the true story of an Indian Robin Hood driven by persecution to dacoity: an account of his life of daring, feats of strength, escapes and tortures, his robbery of the rich and generosity to the poor... etc.* (London, 1927) рекомендуется любителям С. Дж. Перельмана, как единственная работа о бандитах с предисловиями от трех англиканских епископов и участника экспедиции на Эверест 1924 года («подлинная история настоящего спортсмена — вот она»). Ее историческая ценность не столь очевидна. Дэвид Арнолд в своей "Dacoity and

rural crime in Madras 1860–1940" (*Journal of Peasant Studies*, VI/2, 1979, стр. 140–167) утверждает, что «замечания Хобсбаума о Южной Азии неудачны и некорректны». А тема работы сейчас начала проникать в индийское коммерческое кино.

Прочие азиатские регионы, судя по всему, привлекли еще меньше внимания. По ИНДОНЕЗИИ, или скорее Яве, имеются Sartono Kartodirdjo, The Peasant Revolt of Banten in 1888 (Leiden, 1966) и P. M. van Wulfften-Palthe, Psychological Aspects of the Indonesian Problem (Leiden, 1949). Чеан Бон Хен исследовал вопрос в МАЛАЙЗИИ: "Hobsbawm's Social Banditry, Myth and Historical Reality: A Case in the Malaysian State of Kedah" (*Bulletin of Concerned Asian Scholars*, vol. 17/4, 1985, с. 34–50) *и The Peasant Robbers of Kedah 1900–1929: Historical and Folk Perspectives* (Oxford University Press, Singapore, 1988). См. также David B. Johnston, "Bandit, Nakleng, and Peasant in Rural Thai Society" (*Contributions to Asian Studies*, vol. 15, 1980, с. 90–101). Поскольку работа Karen Barkey op. cit. в основном имеет дело с Анатолией, ее тоже следует отнести к Азии.

Неудивительно, с учетом истории ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ после кубинской революции, что там историография бандитизма более значительна, чем в других частях света.

Richard Slatta, ed., *Bandidos: The Varieties of Latin American Banditry* (Westport, CT, 1987) дает обзор всего континента. См. также Paul J. Vanderwood, «Bandits in Nineteenth-Century Latin America: An Introduction to the Theme» (*Biblioteca Americana*, I, 2, Nov. 1982, стр. 1–28) и специальный выпуск под его же редакцией «Social Banditry and Spanish American Independence 1790–1821» (Biblioteca Americana, I, 2, Nov. 1982).

БРАЗИЛИЯ и ПЕРУ, где имелись сильные бандитские традиции, лидировали в соответствующей области в начале 1970-х и все еще остаются впереди. Относительно Бразилии, среди главных новых работ о *кангасейруш* надо назвать: Peter Singelmann, (Political Structure and Social Banditry in Northeast Brazil (*Journal of Latin American Studies*, 7/I, 1975, p. 59–83)), Billy Jaynes Chandler, *The Bandit King: Lampião of Brazil* (Texas A&M Univ. Press, 1978) и труды Линды Льюин, в частности "The Oligarchical Limitations of Social Banditry in Brazil: The Case of the "Good" Thief Antônio Silvino" (*Past & Present*, 82, Feb. 1982, с. 114–146). Для Перу остается классикой E. Lopez Albujar, *Los caballeros del delito* (Lima, 1936, 2 изд., 1973), а к малодоступным местным публикациям, на которые я кое-где ссылаюсь, можно сегодня добавить такие работы, как Carlos

Aguirre/Charles Walker, eds., *Bandoleros, abigeos y montoneros: criminalidad y violencia en el Peru, siglos XVIII–XX* (Lima, 1990) и Lewis Taylor, *Bandits and Politics in Peru: Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc* (Cambridge, UK, 1986).

Для еще одной страны со склонностью идеализировать воинственных и презирающих законы *гаучо* и *монтонеро* своего прошлого, АРГЕНТИНЫ, глава Ричарда Слатты в "*Bandidos*" предоставит (скептическое, правда) описание бандитизма, но главный хроникер этой темы — Уго Чумбита со своей серией статей, не без труда доступных для иностранных читателей, в популярном буэнос-айресском журнале "Todo Es Historia". Hugo Nario, Mesias y bandoleros pampeanos (Buenos Aires, 1993) — прямо по существу дела. Gonzalo Sanchez, Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos: El caso de la Violencia en Colombia* (Bogotà, 1984) и Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, *La Violence en Colombie: Racines historiques et sociales* (Paris, 1990) — обе книги с моими предисловиями — лучшие описания феномена в КОЛУМБИИ, стране, в которой — возможно, по причинам, освещаемым в этих работах, — ни разу не возникало робингудовской традиции.

Эрик Д. Лангер (в Richard Slatta, op. cit.) и Бенджамин Орлов исследуют территорию БОЛИВИИ (в B. S. Orlove, G. Custard, eds., *Land and Power in Latin America*, New York/London, 1980).

Классическое введение в историю МЕКСИКИ — C. Bernaldo de Quirós, *El Bandolerismo en Espana y Mexico* (Mexico, 1959). Пол Вандервуд заметный эксперт в этой области — см. его *Disorder and Progress: Bandits, Police and Mexican Development* (Lincoln, NE, 1981), — но без Friedrich Katz, *The Life and Times of Pancho Villa* (Stanford, 1999) обойтись нельзя. По поводу взаимодействия революции и бандитизма см. Samuel Brunk, The Sad Situation of Civilians and Soldiers: The Banditry of Zapatismo in the Mexican Revolution (*American Historical Review*, vol. 101/2, April 1996, p. 331–353).

Вполне ожидаемо, что история бандитизма на КУБЕ привлекла историков. Несколько неожиданное покровительство этим исследованиям со стороны властей Канарских островов объясняется заметным положением канарских эмигрантов на Кубе: Manuel de Paz Sanchez, Jose Fernandez Fernandez, Nelson Lopez Novegil, *El Bandolerismo en Cuba 1800–1933*, 2 vols, Santa Cruz de Tenerife, 1993, 1994). См. также проф. de Paz Sanchez, «El bandolerismo social en Cuba (1881–1893)» в *IX Jornadas de Estudios Canarias-America: Las relaciones canario-cubanas* (Santa Cruz

de Tenerife, 1989, с. 29–50). Вероятно, более доступна работа Rosalie Schwartz, *Lawless Liberators: Political Banditry and Cuban Independence* (Durham, NC/London, 1989). О самых знаменитых кубинских бандитах см. Marie Poumier Tachequel, *Contribution à l'étude du banditime social à Cuba: L'Histoire et le mythe de Manuel Garcia 'Rey de los Campos de Cuba'* (1851–1895) (Paris, 1986).

Изучение бандитизма в АФРИКЕ еще невелико, хотя исследование Чарльзом ван Онселеном жизни городских низов в Южной Африке проливает много света на эту проблематику. Вероятно, пока еще слишком рано ожидать какого-либо всестороннего описания континента южнее Сахары.

ЕВРОПЕЙСКОЕ исследование бандитизма интенсивно развивается. Научная литература об ИТАЛИИ, чьи *banditi* долго оставались самыми знаменитыми в искусстве и литературе, вероятно, до сих пор обширней, чем о любой другой стране. Бóльшая ее часть описывает классические бандитские регионы Южной Италии и островной части. В отношении южной континентальной части F. Molfese, *Storia del brigantaggio dopo l'unità* (Milan, 1964), особенно Глава 3, часть I, Gaetano Cingari, *Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud* (1799–1900) (Reggio Calabria, 1976) и Enzo D'Alessandro, *Brigantaggio e Mafia in Sicilia* (Messina/Florence, 1959), равно как и Anton Blok, *The Mafia of a Sicilian Village: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs 1860–1960* (Oxford, 1974) по-прежнему остаются важнейшими работами. Чингари посвятил 60 основательных страниц калабрийскому бандиту Музолино. О живучести местной бандитской традиции см. также A. Scirocco, Fenomeni di persistenza del ribellismo contadino: il brigantaggio in Calabria prima dell'Unità (*Archivio Storico per le Provine Napoletane*, 3d ser., XX, 1981, с. 245–279).

Эволюция сардинского бандитизма, который разгорелся в конце 1960-х, является предметом дискуссии между историками, социальными антропологами и другими. См. Pietro Marongiu, *Introduzione allo studio del banditismo sociale in Sardegna* (Sassari, 1973), John Day, Banditisme et societe pastorale en Sardaigne, в B. Vincent, ed., *Les marginaux et les exclus dans l'histoire* (с. 178–213), и David Moss, Bandits and Boundaries in Sardinia (*Man*, N.S., 14, 1979, с. 477–496). По поводу центрального места, которое занимает кровная месть в островном бандитизме, см. Antonio Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico* (Milan, 1975), и (о близлежащей КОРСИКЕ) Stephen Wilson, *Feuding, Conflict and*

Banditry in Nineteenth-Century Corsica (Cambridge, 1988). Главной инновацией стало расширение исследований бандитизма с юга и островов на центральную и даже северную часть Италии, ср. исследования, собранные в *Istituto "Alcide Cervi" Annali*, 2/I, 1980, особенно Часть 2 (p. 223–396), «Brigantaggio, ribellione e devianza sociale nelle campagne dell'Italia centrale».

О северных итальянских регионах см. различные статьи в G. Ortalli op. cit. Особый интерес (не только в отношении региона) представляет собрание исследований взаимоотношений закона и фольклора: Luigi L. Lombardi Satriani, Mariano Meligrana, ed., *Diritto egemone e diritto popolare: La Calabria negli studi di demologia giuridica* (Vibo Valentia, 1975).

C. Bernaldo de Quirós, Luis Ardila, *El Bandolerismo Andaluz* (1933, Madrid, 1978 репринт) приводит классические факты об этом ключевом бандитском регионе ИСПАНИИ, а соответствующие части в J. A. Pitt Rivers, *People of the Sierra* (Chicago, 1971) и J. Caro Baroja, *Ensayos sobre la Leteratura de Cordel* (Madrid, 1969) предлагают их интерпретацию. Краткий и непростой текст Xavier Torres I Sans, *Els bandolers* (s. XVI–XVII) (Vic, 1991) теперь дополняет работу Joan Fuster, *El bandolerisme català* (Barcelona, 1962–1963). Монографии по другим испанским регионам упоминаются в сносках.

В БРИТАНИИ список литературы о Робине Гуде продолжает пополняться. Наиболее авторитетное описание можно найти в J. C. Holt, *Robin Hood* (London, 1982). Работы проф. Арфона Риса по уэльским бандитам и преступникам пока не опубликованы, но сложно найти сравнимую с ними литературу о разбойниках.

Наиболее интересная работа, касающаяся ФРАНЦИИ, тоже описывает развитие бандитской легенды и традиции и упоминается в соответствующем разделе. Наиболее полная работа, F. Funck Brentano, *Mandrin* (Paris, 1908) — устарела и не демонстрирует больших откровений. В отношении преступности и методов взаимодействия с ней в Лангедоке XVIII века надежными и глубокими являются разнообразные работы Николь Кастен и Ива Кастен. Труды Ричарда Кобба об эпохе Революции содержит интересные сведения.

Исследование бандитизма развивается и в ГЕРМАНИИ, будучи стимулировано противоречивым трудом Carsten Küther, *Räuber und Gauner in Deutschland: das organisierte Bandenwesen im 18. und frühen 19. Jahrhundert* (Göttingen, 1976). Крупнейшим вкладом явилась работа Uwe Danker, *Räuberbanden im Alten Reich um 1700: Ein Beitrag zur Geschichte von*

Herrschaft und Kriminalität in der Frühen Neuzeit (Frankfurt, 2 vols, 1988). См. Michael Pammer, Zur Johann Georg Grasslischen Räuber Complicität (*Historicum*, Salzburg, 8/1988, S. 29–33).

Paul Hugger, *Sozialrebellen und Rechtsbrecher in der Schweiz* (Zurich, 1976) поднимает неожиданную тему возможного социального бандитизма в ШВЕЙЦАРИИ.

Anton Blok, *De Bokkerijders: Roversbanden en geheime Genootschappen in de Landen van Overmaas [1730-1774]* (Amsterdam, 1991) — наиболее полное описание таких банд в НИДЕРЛАНДАХ.

Бандитизм ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ обсуждается в сравнительном ключе в Fikret Adanir op. cit. и в Imre Rácz, *Couches militaires issues de la paysannerie libre en Europe orientale du quinzième au dix-septième siècles* (Debreczen, 1964). Не на каждой полке можно встретить *Dimensions de la Revolte Primitive en Europe Centrale et Orientale* (в бюллетене Groupe de Travail sur l'Europe Centrale et Orientale, Maison des Sciences de l'Homme, Paris: Questions et Débats sur l'Europe Centrale et Orientale, no. 4, Dec. 1985, стр. 85-135), но эта работа чрезвычайно важна в отношении Греции, Румынии и Армении.

О РОССИИ, похоже, появилось не слишком много на других языках со времен Denise Eeckhoute, *Les brigands en Russie du dix-septième au dix-neuvième siècle* (*Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, 2/1965, с. 161–202).

За БОЛГАРИЮ отвечают старые, но ценные Georg Rosen, *Die Balkan-Haiduken* (Leipzig, 1878) и B. Tsvetkova, *Mouvements anti-feodaux dans les terres bulgares (Etudes Historiques*, Sofia, 1965).

Я счел полезной работу A. V. Schweiger-Lerchenfeld, *Bosnien* (Vienna, 1878) в отношении бывшей ЮГОСЛАВИИ, равно как и G. Castellan, *La vie quotidienne en Serbie au seuil de l'independence* (Paris, 1967).

Главными исследованиями по ГРЕЦИИ, судя по всему, являются труды Dennis Skiotis, From bandit to Pasha: the first steps in the rise to powes of Ali of Tepelen (*Journal of Middle Eastern Studies*, 1971/2, p. 219–244) и S. D. Asdrachas (ср. *Quelques aspects du banditisme social en Grèce au XVIIIe siècle*, Etudes Balkaniques, 1972/4, Sofia, p. 97–112).

Мне неизвестно об исследованиях польского или словацкого бандитизма на неславянских языках, но относительно КАРПАТСКО-УКРАИНСКОГО региона имеется репортаж Ивана Ольбрахта *Berge und Jahrunderte* (East Berlin, 1952), послуживший материалом для его прекрасного романа (см. ниже).

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА может гордиться огромным корпусом литературы и еще большим — кинофильмов и беллетристики. Я упомяну лишь William Settle, *Jesse James Was His Name* (Columbia, MO, 1966), Stephen Tatum, *Inventing Billy the Kid: Visions of the Outlaw in America, 1881–1981* (Albuquerque, 1982) и Richard White, Outlaw Gangs of the Middle American Border: American Social Bandits (*Western Historical Quarterly*, 12 Oct. 1981, p. 387–408). Бесценна работа James R. Green, *Grass-Roots Socialism: Radical Movements in the Southwest 1895–1943* (Baton Rouge/London, 1978).

Работа Kent L. Steckmesser, Robin Hood and the American Outlaw (*Journal of American Folklore*, 79, 1966, стр. 348–355) закладывает базу для сравнительного анализа. Pat O'Malley, The Suppression of Banditry: Train Robbers in the US Border States and Bushrangers in Australia (*Crime and Social Justice*, 16, Winter 1981, P. 32–39) соединяет США с АВСТРАЛИЕЙ, о которой см. P. O'Malley, Class Conflict, Land and Social Banditry: Bushranging in Nineteenth-Century Australia (*Social Problems*, 26, 1979, p. 271–283). О его критике в адрес Хобсбаума см.: Послесловие. О самом знаменитом австралийском бандите см.: F. J. Mcquilton, *The Kelly Outbreak, 1878–1880: The Geographical Dimension of Social Banditry* (Melbourne University Press, 1978), John H. Philips, *The Trial of Ned Kelly* (Sydney, 1987) и D. Morrissey, Ned Kelly's Sympathisers (*Historical Studies*, 18, 1978, University of Melbourne, с. 228–296).

Хорошие биографии бандитов обычно принадлежат перу историков (см. цитируемые выше работы), хотя иногда получаются и у литераторов, в частности Gavin Maxwell, *God Protect Me From My Friends* (London, 1957) — о жизни сицилийского бандита Джулиано. Поскольку свидетельства бандитов автобиографического характера почти всегда доходят через третьих лиц, к ним следует относиться с определенной осторожностью, как в случае Панайота Хитова, болгарского гайдука (в G. Rosen op. cit.) и еще более в случае Крокко, разбойника с юга Италии (в F. Cascella, *Il brigantaggio, ricerche sociologiche e antropologiche*, Aversa, 1907). Другой продукт той же итальянской школы криминологии — E. Morsello S. de Sanctis, *Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia. Studio medico-legale e considerazioni* (Milan, 1903). Свидетельства из первых рук в библиографии сардинского бандитизма и бразильских кангасейруш также следует воспринимать с долей скептицизма.

Академические исследования БАНДИТСКОЙ ТРАДИЦИИ и БАНДИТСКОЙ ЛЕГЕНДЫ значительно прогрессировали. Вдобавок

к уже процитированным работам Торреса I Санса и Данкера следует отметить важное введение Роже Шартье к *Figures de la gueuserie: Textes presëntés par Roger Chartier* (Paris, 1982, особенно с. 83–106) и Dominique Blanc-Daniel Fabre, *Le Brigand de Cavanac: le fait divers, le roman, l'historie* (Editions Verdier, Lagrasse, 1982). Выдающимся примером такого исследования является и Linda Lewin, Oral Tradition and Elite Myth: The Legend of Antônio Silvino in Brazilian Popular Culture (*Journal of Latin American Lore*, 5:2, 1979, p. 157–204). За самими балладами и стихами можно обратиться к R. Daus, *Der epische Zyklus der Cangaçeiros in der Volkspoesie Nordostbrasiliens* (Berlin, 1969). Julio Caro Baroja, op. cit., A. Dozon, *Chansons populaires bulgares ineédites* (Paris, 1875) и Adolf Strausz, *Bulgarische Volksdichtung* (Vienna/Leipzig, 1895), они дают дельную подборку баллад испанских и болгарских гайдуков. То, чего большинство из нас лишено из-за незнания языков, можно увидеть в английском дайджесте работы J. Horák, K. Plicka, *Zbojnícke piesne slovenskěho ĺudu* (Bratislava, 1963), которая содержит 700 бандитских песен только из Словакии.

Среди многочисленных бандитских романов бесспорно лучшим мне представляется Ivan Olbracht, *Der Räuber Nikola Schuhaj* (East Berlin, 1953)[I]. *Mehmet My Hawk* Яшара Кемаля (London, 1961)[II] — еще один литературный герой коммунизма — блестящее произведение. Классическим бандитским романом, конечно, является китайский «*Ши Найань*»[III], переведенный Перлом Баком на английский как "*All Men Are Brothers*" (New York, 1937). E. About, *Le roi des montagnes* рисует картину греческого разбойничества после освобождения, лишенную каких-либо иллюзий. «*Роб Рой*» Вальтера Скотта (с полезным историческим предисловием) вводит в заблуждение относительно своего героя в гораздо меньшей степени, чем «Айвенго» того же автора — относительно Робина Гуда. Бандитам посвящены многочисленные фильмы, телепередачи и видеоматериалы. Ничто из этого не представляет ценности в качестве исторического источника, но как минимум два сильно прибавляют к нашему пониманию бандитской среды: «*Бандиты из Оргозоло*» Витторио де Сеты и великолепный «*Сальваторе Джулиано*» Франческо Рози.

I *Ольбрахт И.* Никола Шугай, разбойник. М.: Худ. лит., 1983.

II *Кемаль Я.* Тощий Мемед. М.: Иностранная литература, 1959.

III *Ши Най-ань.* Речные заводи. М.: Полярис, 1992.

Примечания

[1] William Doyle, 'Feuds and Law and Order', *London Review of Books*, 14 Sep. 1989. P. 12.

[2] Ср. E. J. Hobsbawm, Introduction to G. Ortalli, ed., *Bande Armate, Banditi, Banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime* (Rome, 1986). P. 16.

[3] G. C. Croce, *Barzeletta sopra la morte di Giacomo del Gallo famosissimo bandito* (Bologna, 1610), vv. 26–29, 131–154.

[4] Giovanni Cherubini, 'La tipologia del bandito nel tardo medioevo', в Ortalli, op. cit. P. 353.

[5] Fikret Adanir, 'Heiduckentum und osmanische Herrschaft: Sozial-geschichtlichte Aspekte der Diskussion um das frühneuzeitliche Räuberwesen in Südosteuropa', *Südost-Forschungen*, XLI, 1982. P. 43–116.

[6] См.: Gonzalo Sanchez and Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la Violencia en Colombia* (Bogotà, 1983) и мое предисловие к этой работе.

[7] Antonio Pigliaru, *Il Banditismo in Sardegna: La vendetta barbaricina* (Varese, 1975). P. 419.

[8] Bronislaw Geremek, 'Il pauperismo nell'età pre-industriale', *Einaudi Storia 'Italia'*, vol. V (Turin, 1973). P. 695.

[9] Billy Jaynes Chandler, *The Bandit King: Lampião of Brazil* (Texas A&M Univ. Press, 1978). Цитируется по португальскому изданию (Rio de Janeiro, 1981). P. 27.

[10] Phil Billingsley, *Bandits in Republican China* (Stanford, CA, 1988). P. 20. См. также с. 16: «Нищета… всегда кроется за извечным бандитским присутствием, а голод дает мощный стимул преступности. Бандит, пойманный в Сычуане, например, сказал допрашивающему его военному, что, если они захотят вскрыть ему желудок — они найдут там причину его превращения в бандита. Заинтригованный офицер после казни сделал именно это: в желудке не было ничего, кроме травы».

[11] Hugo Chumbita, 'El bandido Artigas', *Todo Es Historia*, no. 356 (Buenos Aires, March 1997). P. 8–27.

[12] Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Medditerranean World in the Age of Philip II* (Paris, 1949 — orig.edn.).

[13] P. Imbs, ed., *Trésor de la langue Française*, vol. 4 (Paris, 1975), v. 'brigand'; J. Corominas, *Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana*, vol. I (Berne, 1954), v. Bando II (London, 1992 edn, Part II, 5.3), цит. в Luigi Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime* (Milan, 1988). P. 45.

[14] Karen Barkey, *Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization* (Ithaca/London, 1994). P. 153–154.

[15] «Аристократические (деспотические) империи обычно прибегали к давлению: когда элитам требовалось больше, они не размышляли в терминах доходов или производительности... Они просто давили и притесняли еще больше, и, как правило, находился еще скрытый сок. Иногда они ошибались в своем расчете и давили слишком сильно, это могло означать отпор, бунт, возможность восстания». David S. Landes, *The Wealth and Poverty of Nations* (New York/London, 1998). P. 32.

[16] См. Daniele Marchesini, 'Banditi e identità', в G. Ortalli, op. cit. P. 471–478.

[17] Brent D. Shaw, 'Bandits in the Roman Empire', *Past & Present*, 105, 1984. P. 3–52.

[18] Molise, цит. в F. Molfese, *Storia del Brigantaggio dopo l'unità* (Milan, 1964). P. 131.

[19] Enrique Morselli-Sante De Sanctis, *Biografia de un bandito, Giuseppe Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia. Studio medico-legale e considerazioni* (Milan, 1903), цит. в L. Lombardi Satriani and M. Meligrana eds., *Diritto Egemone e Diritto Popolare: La Calabria negli studi di demologia giuridica* (Vibo Valentia, 1975). P. 478.

[20] Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, *La Violence en Colombie* (Paris, 1990). P. 205, n. 70. Более ранняя оценка см. в G. Guzman, O. Fals Borda, E. Umaña Luna, *La Violencia en Colombia* (Bogotà, 1964), vol. II. P. 287–297.

[21] *Le brigandage en Macédonie: Un rapport confidentiel au government bulgare* (Berlin, 1908), стр. 38; по информации от проф. Д. Дейкина (Birkbeck College).

[22] Stephen Wilson, *Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth Century Corsica* (Cambridge, 1988). P. 5, 336.

[23] Gaetano Cingari, *Brigantaggio, proprietai e contadini nel sud (1799–1900)* (Reggio Calabria, 1976). P. 141.

[24] D. Eeckhoute, 'Les brigands en Russie du dix-septième au dix-neuvième siècle', в *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, XII, 1965. P. 174–175.

[25] E. Alabaster, *Notes and Commentaries on the Chinese criminal law* (Luzac & Co.). P. 400–402.

[26] E. Lopez Albujar, *Los caballeros del delito* (Lima, 1936). P. 75–6.

[27] W. Crooke, *The Tribes and Castles of the North-West Provinces and Oudhe* (Calcutta, 1896), 4 vols, I. P. 49.

[28] F. Molfese, op. cit. P. 130.

[29] M. I. P. de Quieroz, *Os Cangaçeiros: Les bandits d'honneur brésiliens* (Paris, 1968). P. 142, 164.

[30] Ibid.

[31] Автобиография в G. Rosen, *Die Balkan-Haiduken* (Leipzig, 1878). P. 78.

[32] F. Molfese, op. cit. P. 127–128.

[33] Phil Billingsley, *Bandits in Republican China* (Stanford, 1988). P. 75–76.

[34] По сообщению от д-ра Эдуардо Писарро. Статистические данные см. в Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, *La violence en Colombie: Racines historiques et sociales* (Paris, 1990). P. 192, n. 45.

[35] Hobsbawm, E. J., *Primitive Rebels* (Manchester University Press, 1959); Lopes Albujar, op. cit. P. 126.

[36] Alejandro Franco, 'El Aymara del siglo XX', в *Amauta* (Lima) 23, 1929. P. 88.

[37] Цит. по F. Molfese, op. cit. P. 367–82.

[38] A. H. Smith, *Village life in China* (New York/Chicago/Toronto, 1899). P. 213–217.

[39] F. C. B. Avé-Lallemant, *Das deutsche Gaunerthum* (Leipzig, 1858–1862), II. P. 91n.

[40] Подробнее см. G. Kraft, *Historische Studien zu Schillers Schauspiel 'Die Räuber'* (Weimar, 1959).

[41] F. C. B. Avé-Lallemant, op. cit., I. P. 241. Ср. подтверждение различий между обычными преступниками и бандитами от судмедэксперта с опытом в обеих областях, E. de Lima, op. cit., *passim*; G. Sangnier, *Le brigandage dans le Pas-de-Calais* (Blangermont, 1962). P. 172, 196.

[42] *Ши Най-ань*. Речные заводи. М.: Полярис, 1992.

[43] E. Morselli, S. de Sanctis, *Biografia di un bandito: Giuseppe Musolino, di fronte alla psichiatria ed alla sociologia* (Milan n.d.). P. 175.

[44] C. Bernalo de Quiros, *El bandolerismo en España y Mexico* (Mexico, 1959). P. 59.

[45] M. Pavlovich, *«Zelim Khan et le brigandage au Caucase» in Revue du monde musulman*, XX, 1912. P. 144, 146.

[46] V. Zapata Cesti, *La delincuencia en el Peru* (Lima n.d.). P. 175.

[47] M. L. Guzman, *The Memoirs of Pancho Villa* (Austin, TX, 1965). P. 8.

[48] Alberto Carillo Ramirez, Luis Pardo, *«El Gran Bandido»* (Lima, 1970). P. 117–118, 121.

[49] Miguel Barnet, *Cimarrón* (Havana, 1967). P. 87–88.

[50] R. V. Russell, *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India* (Macmillan, 1916), 4 vols, I, p. 60; Charles Hervey, Some Records of Crime (Simpson, 1892), I. P. 331.

[51] Kent L. Steckmesser, *«Robin Hood and the American outlaw»*, в Journal of American Folklore, 79, April-June 1966. P. 350.

[52] *Ши Най-ань.* Речные заводи. М.: Полярис, 1992.

[53] A. v. Schweiger-Lerchenfeld, *Bosnien* (Vienna, 1878). P. 122.

[54] F. Kanitz, *La Bulgarie danubienne* (Paris, 1882). P. 346.

[55] Специальный номер «Il Ponte» (1950, p. 1305), посвященный Калабрии.

[56] Juan Regla Campistol and Joan Fuster, *El bandolerisme català* (Barcelona, 1963), II. P. 35.

[57] C. G. Harper, *Half-Hours with the Highwaymen* (London, 1908), II. P. 235.

[58] Antonio Teodoro dos Santos, *O Poeta Garimpeiro, «Lampião, king of the bandits»*, брошюра (Saŏ Paulo, 1959).

[59] N. Macedo, op. cit. P. 183

[60] Cp. Paris Lozano, *«Los guerilleros del Tolima»*, в Revista de las Indias (Bogotà, 1936), I, no. 4. P. 31.

[61] Yashar Kemal, *Mehmed My Hawk* (Collins, 1961). P. 56.

[62] Guzman, Fals Borda, *Umaña Luna*, op. cit., I. P. 182.

[63] Ibid., II. P. 327–328.

[64] Ivan Olbracht, *Berge und Jahrhunderte* (East Berlin, 1952). P. 82–83.

[65] Из A. Dozon, *Chansons polulaires bulgares inédites* (Paris, 1875). P. 208.

[66] A. Strausz, *Bulgarische Volksdichtungen* (Vienna/Leipzig, 1895). P. 295–297.

[67] Le brigandage en Macédoine, loc. cit., p. 37. По поводу отсутствия гомосексуализма среди бразильских бандитов см. E. de Lima, op. cit. P. 45.

[68] A. Dozon, op. cit. P. 184.

[69] J. Baggalay, *Klephtic Ballads* (Blackwell, 1936). P. 18–19. C. J. Jireček, *Geschichte der Bulgaren* (Prague, 1876). P. 474.

[70] J. C. V. Engel, *Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und Slavonien* (Halle, 1798). P. 232.

[71] Marko Fedorowitsch, *Die Slawen der Türkei* (Dresden/Leipzig, 1844), II. P. 206.

[72] J. Usang Ly, в Journal of Race Development, 8, 1917–1918. P. 370.

[73] Leonardo Mota, No tempo de Lampião (Rio de Janeiro, 1968 edn). P. 55–56.

[74] См.: Billingsley, op. cit. P. 163–177 по поводу процедур выкупа. Цитаты на с. 163, там же цитируется Aleko E. Lilius, *I Sailed with Chinese Pirates* (London, 1930). P. 135.

[75] L. Mota, op. cit. P. 54.

[76] R. V. Russell, op. cit., I. P. 52–53; III. P. 237–239, 474.

[77] См.: Teniente Coronel (R) Genaro Matos, *Operaciones irregulares al norte de Cajamarca 1924–5 a 1927* (Lima, 1968).

[78] G. Matos, op. cit. P. 75; цит. по: Salamón Vilchez Murga, *Fusiles y Machetes*, местный источник.

[79] D. Eeckhoute, loc. cit. P. 201–202.

[80] J. Delumeau, *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du selzième siècle* (Paris, 1957–1959), II. P. 557.

[81] P. M. van Wulfften-Palthe, *Psychological Aspects of the Indonesian Problem* (Leiden, 1949). P. 32.

[82] J. Koetschet, *Aus Bosniens letzter Türkenzeit* (Vienna/Leipzig, 1905). P. 6–8.

[83] *District Gazetteers of the United Provinces* (Allahabad, 1911), I. P. 185.

[84] Sartono Kartodirdjo, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* (The Hague, 1966). P. 23.

[85] Wulfften-Palthe, op. cit. P. 34.

[86] M. Pavlovich, loc. cit. P. 146, 159.

[87] Ср. M. L. Guzman, op. cit. См. также: Friedrich Katz, *The Life and Times of Pancho Villa* (Stanford, CA, 1999). P. 73, 101.

[88] Stuart Schram, Mao Tse-tung (Harmondsworth, 1966). P. 43.

[89] См. великолепную главу «Bandits and the Revolutionary Movement» в P. Billingsley, op. cit. P. 226–270.

[90] С тех пор появилась более полная биография: Antonio Tellez, Sabatė, *Guerrilla Extraordinary* (London, 1974). См. также того же автора: *La guerrilla urbana I: Facerias* (Paris, 1974).

[91] E. Lister, *'Lessons of the Spanish Guerrilla War (1939–1951)'* в World Marxist Review, 8, II, 1965. P. 53–58; Tomas Cossias, *La lucha contra el 'Maquis' en España* (Madrid, 1956).

[92] A. J. Paterson, *The Magyars: Their Country and Institutions* (London, 1869), I. P. 213.

[93] I. Olbracht, *Berge and Jahrhunderte*. P. 113. Цит. по: *Ольбрахт И.* Никола Шугай, разбойник / пер. Д. Горбова. М.: Худ. лит., 1983.

[94] I. Olbracht, *Der Räuber Nikola Schuhaj*. P. 76–77.

[95] *Diario de un guerillero Latinamericano* (Montevideo, 1968). P. 60.

[96] Ibid. P. 60–61.

[97] M. I. P. de Queiroz, op. cit. P. 179.

[98] Ibid. P. 183.

[99] C. J. Jireček, op. cit. P. 476.

[100] V. Zapata Cesti, op. cit. P. 205–206.

[101] Hugo Nario, *Mesías y bandoleros pampeanos* (Buenos Aires, 1993). P. 115–117.

[102] Обсуждение см. в Julio Caro Baroja, *Ensayo sobre la Letteratura de Cordel* (Madrid, 1969). P. 389–390.

[103] F. Katz, op. cit. P. 830.

[104] «The Bandit Giuliano» в E. J. Hobsbawm, *Uncommon People: Resistance, Rebellion and Jazz* (London, 1998). P. 191–199.

[105] См. Xavier Torres I Sans, *Els Bandolers (s. XVI–XVII)* (Vic, 1991, гл. V).

[106] J. C. Holt, *Robin Hood* (London, 1982), особенно P. 154–155.

[107] Hugo Chumbita, 'Alias Maté Cocido', *Todo Es Historia*, no. 293 (Buenos Aires), Nov. 1991. P. 82–95.

[108] Gaetano Cingari, *Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud (1799–1900)* (Reggio Calabria, 1976). P. 205–266.

Содержание

Научное издание

Эрик Хобсбаум

Бандиты

Редактор *Н. Б. Мордвинцева*
Корректор *Т. В. Калинина*
Верстка — *А. А. Васильева*

Подписано в печать 20.07.2020. Формат 84×108/32.
Тираж 2000 экз. (первый завод 500 экз.)
Заказ № 155692

«Русский фонд содействия образованию и науке».
Университет Дмитрия Пожарского.
119146, Москва, Комсомольский пр-т, д. 23/7, корп. 2.
Сайт: www.publisher.usdp.ru.
Тел.: +7 (499) 242-37-24.

Отпечатано: АО «Т 8 Издательские технологии».
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.





Книга одного из ключевых историков XX в. Эрика Хобсбаума (1917–2012) посвящена феномену социального бандитизма, в классическом виде представленного легендами о Робин Гуде. Но не только в Шервудском лесу появлялись «бандиты», бросавшие вызов иерархической властной системе, защитники бедняков и народные мстители, неуловимые благодаря поддержке сообществ и стремительно обрастающие мифами и легендами. Практически с фатальной неизбежностью такие герои обнаруживаются на всех континентах и во всех уголках мира, в определенных исторических условиях. О том, как и почему это происходит, и как отделить реальность от народной легенды, и рассказано в этой книге.

